

АННА
РАДКЛИФ

✧
Итальянец



✧ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✧

Зарубежная классика (АСТ)

Анна Радклиф

**Итальянец, или Исповедальня
Кающихся, Облаченных в Черное**

«Издательство АСТ»

1797

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Радклиф А.

Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное
/ А. Радклиф — «Издательство АСТ», 1797 — (Зарубежная
классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-138062-5

Молодой маркиз Вивальди страстно влюблен в таинственную красавицу Эллену ди Розальба, однако его родители категорически против брака аристократа с девушкой неизвестного происхождения и готовы на все, чтобы помешать будущему венчанию, вплоть до похищения невесты. Однако на помощь Вивальди и Эллине снова и снова приходит загадочный монах – всезнающий, всевидящий, возникающий словно из ниоткуда и исчезающий так же неуловимо, как и появился...

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-138062-5

© Радклиф А., 1797
© Издательство АСТ, 1797

Содержание

Том I	8
Глава 1	8
Глава 2	21
Глава 3	30
Глава 4	38
Глава 5	42
Глава 6	44
Глава 7	53
Глава 8	62
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Анна Радклиф

Итальянец, или Исповедаляня кающихся, облаченных в черное

*Окутанный безмолвием и тайной,
В тиши свои вынашивая страсти
И облакая их в свои деянья,
Он шлет их на крылах Судьбы к другим,
Подобно Воле – той, что правит нами:
Неведомой, незримой, недоступной!¹*

Ann Radcliffe

THE ITALIAN, OR THE CONFESSIONAL OF THE BLACK PENITENTS

© Перевод. С. Сухарев, наследники, 2021

© Перевод. Л. Брилова, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

* * *

Году приблизительно в 1764-м несколько англичан совершали путешествие по Италии; осматривая окрестности Неаполя, они остановились перед церковью Санта-Мария дель Пьянто: храм этот принадлежал старинному монастырю ордена кающихся, облаченных в черное. Величественность портика, хотя и пострадавшего под воздействием времени, повергла путешественников в такой восторг, что у них пробудилось желание поближе познакомиться с сооружением, и любопытствующие путники поднялись по мраморным ступеням, ведущим ко входу в храм.

В тени портика, вдоль колонн, скрестив руки на груди и устремив взгляд долу, по каменным плитам пола расхаживал из угла в угол человек, всецело поглощенный собственными раздумьями. Поначалу незнакомец даже не заметил приближения посетителей, но затем, внезапно обернувшись, словно его встревожили донесшиеся до слуха шаги, стремительно ринулся к дверям и исчез в глубине храма.

Облик незнакомца, далекий от заурядного, а равно и разительная странность его поведения не могли ускользнуть от внимания путников. Высокая, худая фигура, ссутуленные плечи, бледное, с резкими чертами лицо – все в нем было необычно, а взор, брошенный им на путников из-под складок плаща, скрывавшего нижнюю часть его лица, более чем красноречиво свидетельствовал о присущей характеру незнакомца свирепости.

Путешественники, войдя в церковь, стали озираться по сторонам в поисках незнакомца, однако нигде его не обнаружили. В полумраке длинного нефа показалась еще одна фигура: это был монах из прилегавшей к храму обители, обычно вменявший себе в обязанность сопровождать чужестранцев и рассказывать им обо всем, что наиболее заслуживало их внимания: именно с этим намерением он и приблизился теперь к только что вошедшим посетителям.

Внутренность церкви не отличалась показным блеском и пышностью отделки, свойственными многим храмам Италии, и прежде всего неаполитанским, но возвышенная простота обстановки казалась утонченному вкусу более подкупающей, а торжественная игра светотени как нельзя лучше располагала к возвышающему душу чувству набожности.

Осмотрев гробницы и прочие достопримечательности, путешественники через полутемный боковой неф направились было к выходу, как вдруг заметили, что тот самый таинствен-

ный незнакомец, с которым они столкнулись в портике, устремился к одной из исповедален, расположенных слева. Один из англичан поинтересовался, кто это такой, и монах взглянул в сторону незнакомца, однако не проронил ни слова, но на повторный вопрос, наклонив голову в знак вынужденного повиновения, спокойно ответил:

– Это убийца.

– Как! – вскричал один из приезжих. – Убийца – и разгуливает на свободе?

Сопутствовавший англичанам итальянец невольно улыбнулся изумлению своего приятеля.

– Здесь убийца нашел себе убежище, – пояснил монах, – в этих стенах ему нечего бояться.

– Так, значит, ваши алтари защищают убийц? – воскликнул англичанин.

– Ему более нигде не обрести безопасного пристанища, – кротко заметил монах.

– Поразительно! – отозвался его собеседник. – Чего стоят тогда ваши законы, коль скоро самый отъявленный злодей может безнаказанно избегнуть руки правосудия? Но каким образом он умудряется существовать здесь? Разве не грозит ему гибель от голода?

– Прошу прощения, – возразил монах, – но ведь всегда находятся люди, готовые оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и поскольку преступнику нельзя покинуть пределы храма, дабы отправиться на поиски пропитания, еду ему доставляют прямо сюда.

– Да возможно ли такое? – обратился англичанин к своему другу-итальянцу.

– Зачем же обрекать несчастного на мучительный конец! – откликнулся тот. – Он неизбежно умрет, если лишит его куска хлеба. Но неужто тебе на протяжении всего нашего путешествия по стране ни разу не довелось встретить человека в подобном же положении? У нас это случается довольно часто.

– Я впервые такое вижу, – отвечал англичанин, – и просто глазам своим не могу поверить.

– Знаешь, дружище, – произнес итальянец, – убийства в Италии происходят едва ли не на каждом шагу, и, если бы мы не проявляли снисхождения к этим несчастным, наши города опустели бы наполовину.

В ответ на столь глубокомысленное замечание англичанин мог только отвесить поклон.

– Посмотри вон на ту исповедальню, – продолжал итальянец, – за колоннами в левом нефе, под самым витражом. Заметил? Цветные стекла плохо пропускают свет, и потому ее не так-то легко разглядеть.

Англичанин взглянул в ту сторону, куда указывал его друг. В боковом нефе, у самой стены, помещалась исповедальня, построенная из дубовых панелей либо из другого, столь же темного дерева. Именно в нее, по наблюдению англичанина, и вошел только что убийца. Исповедальня состояла из трех отделений, прикрытых черным балдахином. В центре, на возвышении, стояло кресло, предназначенное для исповедника. К среднему отделению примыкали крайние: ступеньки вели к решетчатой перегородке, через которую, опустившись на колени, скрытый от постороннего взора, кающийся грешник мог доверять слуху священника признания в тяготивших его душу преступлениях.

– Теперь видишь? – спросил итальянец.

– Да, – подтвердил англичанин. – Убийца сейчас внутри этой исповедальни. Сооружения мрачнее этого мне еще не доводилось зреть! Самый вид его способен ввергнуть преступника в безысходное отчаяние.

– Нам, итальянцам, подобное настроение не слишком-то свойственно, – с улыбкой возразил его собеседник.

– Так чем же примечательна эта исповедальня? – нетерпеливо поинтересовался англичанин. – Тем, что в ней скрылся убийца?

– Дело вовсе не в этом, он тут ни при чем. Я всего лишь желал обратить твое внимание на эту исповедальню, ибо с ней сопряжены события, из ряда вон выходящие.

– Что же это за события?

– Минуту уже несколько лет с тех пор, как здесь была выслушана связанная с ними исповедь. Твое удивление при виде убийцы, пользующегося свободой, навело меня на воспоминания. Вернемся в гостиницу – и я поведаю тебе всю историю от начала до конца, если только ты не намерен более приятно скоротать время.

– Мне любопытно узнать все подробности, – заметил англичанин. – Начинай рассказывать прямо сейчас!

– История слишком долгая: пересказать ее и недели не хватит. По счастью, она занесена на бумагу – и я охотно пришлю тебе рукопись. Когда эта ужасающая исповедь сделалась достоянием городской молвы, в Неаполе обретался некий молодой студент из Падуи...

– Прости, ради бога, – перебил приятеля англичанин, – но разве не поразительно уже само то, что содержание исповеди стало доступно другим? Ведь, насколько мне известно, все услышанные признания священник обязан сохранять в строжайшей тайне.

– Справедливо, – согласился итальянец. – Тайна исповеди никогда не нарушается, разве только по особому повелению духовного лица, облеченного высшим саном. Однако даже при этом условии тайна исповеди подлежит раскрытию только в самых исключительных случаях. Но по прочтении повести твое недоумение сойдет на нет. Я собирался сообщить тебе, что записана она студентом из Падуи, оказавшимся в Неаполе как раз после разглашения этой истории. Глубоко потрясенный услышанным, юноша решил взяться за перо – и ради усовершенствования слога, и с целью отблагодарить меня за какую-то малосущественную услугу. Читая эти страницы, ты поймешь, что писал их человек молодой и не слишком искусственный в тонкостях сочинительства. Но от истины он не отступил ни на шаг – а это как раз то, что тебе требуется... Идем же, нам пора!

– Нет, погоди! Мне хочется пристальней всмотреться в этот величественный храм и прочнее запечатлеть в памяти указанную тобой исповедальню.

Англичанин еще раз обвел глазами могучий свод и просторные, тонувшие в полутьме приделы церкви Санта дель Пьянто. Тут он вновь заметил незнакомца в плаще, который, выскользнув из исповедальни, пробрался на хоры; пораженный новой встречей с ним, заезжий гость отвернулся – и поспешно покинул церковь.

У выхода друзья распрощались. Англичанин вернулся в гостиницу – вскоре ему доставили объемистую рукопись, за чтение которой он немедленно взялся. Вот эта повесть...

Том I

Глава 1

В чем тайный грех – неизвестная повесть:

Не выведать, раскаяньем не смыть.

Уолпол Х., Таинственная мать

В 1758 году Винченцио ди Вивальди впервые встретился с Элленой Розальба в неаполитанской церкви Сан-Лоренцо. Едва заслышав нежный певучий голос, юноша невольно устремил взгляд к удивительно гибкой стройной фигуре, отличавшейся редким изяществом, однако лицо незнакомки скрывала густая вуаль. Зачарованный ее голосом Винченцио с мучительно-острым любопытством принялся гадать о ее наружности, каковая, он нимало не сомневался, так же полно должна была выразить чувствительность ее души, как ее мелодичный голос. С неослабным вниманием он не отрывал глаз от незнакомки на всем протяжении утренней службы, по окончании которой девушка покинула церковь в сопровождении пожилой дамы – вероятно, матери, – опиравшейся на ее руку.

Вивальди незамедлительно отправился им вослед, исполненный решимости, буде ему посчастливится, хотя бы мельком увидеть черты лица незнакомки и запомнить дом, где она могла жить. Юноше не раз приходилось ускорять шаг, поскольку обе синьоры шли довольно быстро, нигде не задерживаясь и не глядя по сторонам; на углу Страда-ди-Толедо он едва не потерял их из виду; стремительно бросившись вперед, он мигмом преодолел разделявшее их расстояние, которое до того предусмотрительно выдерживал, и поравнялся с преследуемыми при входе на Терраццо-Нуово, пролежавшую вдоль Неаполитанского залива и ведущую на Гран-Корсо. Юноша оказался рядом с дамами, однако очаровательная незнакомка так и не подняла вуали, а он понятия не имел, как привлечь к себе ее внимание или хотя бы краем глаза скользнуть под покрывало. Скованный почтительной робостью, смешанной с восхищением, Винченцио, борясь с неодолимым желанием заговорить, не мог вымолвить ни единого слова.

У самого подножия лестницы, однако, пожилая дама оступилась; Винченцио сей же час поспешил на помощь, но тут налетевший со стороны моря легкий бриз откинул вуаль, которую Эллена, помогавшая своей спутнице подняться на ноги, не успела придержать, и взору юноши предстало лицо, наделенное такой трогательной красотой, какую он даже не осмеливался вообразить. Облик Эллены напоминал о Греции: запечатленное в ее чертах выражение умиротворенного спокойствия свидетельствовало об изысканной утонченности ума, а темно-голубые глаза блистали чуткой живостью восприятия. Встревоженная состоянием пострадавшей, Эллена не сразу заметила, какой восторг пробудила у молодого очевидца происшествия, но, на мгновение встретившись глазами с Вивальди, тотчас же прочитала в них обуревавшие юношу чувства и, не мешкая долее ни секунды, торопливо опустила вуаль.

Неловкость пожилой синьоры при спуске с лестницы не повлекла за собой, по счастью, особо серьезных последствий, однако Винченцио не преминул воспользоваться открывшейся ему возможностью и обратился к синьорам с учтивейшей просьбой, чтобы пострадавшая, которой каждый шаг давался теперь с заметным усилием, согласилась принять его помощь. Пожилая синьора, должным образом выразив юноше свою признательность за столь любезное с его стороны предложение, долго отнекивалась, но в конце концов ей не оставалось ничего иного, как уступить его убедительным настояниям и опереться на руку юноши.

По дороге Винченцио всячески тщился завязать разговор с Элленой, однако ответы ее отличались крайней немногословностью, и потому даже в самом конце пути Винченцио все

еще продолжал ломать голову, не зная, что могло бы пробудить в девушке интерес и смягчить ее холодную сдержанность. Вид представшего перед ними жилища побудил Винченцио заключить, что сопровождаемые им особы – происхождения, несомненно, благородного – обладают довольно скромными средствами. Дом был невелик, однако все в этом уголке дышало мирным уютом и свидетельствовало о безупречном вкусе обитательниц. Окруженный садом и виноградниками, дом стоял на приметном возвышении, откуда открывалась вечно-изменяющаяся панорама Неаполя и омывающего город залива; кровлю дома осеняли могучие ветви вековых сосен, здесь же произрастали величественные финиковые пальмы; и хотя на незатейливый портик и колоннаду внутри двора употребили отнюдь не самый дорогой мрамор, стиль архитектуры был изящный. В тени колонн можно было найти отрядный приют в часы полуденного зноя, сюда же вольно долетало освежающее прохладой дыхание моря – и ничто не препятствовало созерцанию его восхитительных берегов.

Вивальди остановился у небольших ворот, ведущих в сад; здесь старшая дама снова поблагодарила его за проявленную участливость, однако приглашения войти в дом не последовало – и огорченный Винченцио, дрожа от волнения, с упавшим сердцем, не в силах откланяться, еще какое-то время медлил с уходом: взор его был прикован к Элене, однако от растерянности он не находил способа поддержать разговор, и затянувшаяся пауза вынудила пожилую синьору вновь пожелать ему на прощание всего доброго. Винченцио набрался смелости обратиться с просьбой дозволить ему наведаться сюда позднее, с тем чтобы осведомиться о здоровье достойной синьоры, и, получив разрешение, устремил прощальный взгляд на Элену, которая также отважилась поблагодарить юношу за заботу об ее тетушке. Выказанная девушкой признательность, само звучание ее голоса только усилили жажду Винченцио оставаться возле нее возможно дольше, но в конце концов ему пришлось, сделав над собой величайшее усилие, удалиться. Преследуемый в мечтах поразительной красотой Элены и все еще слыша сердцем трогательные отзвуки ее речи, Винченцио спустился к берегу залива возле ее обиталища; он не мог уже наблюдать за ней воочию, но со временем надеялся украдкой увидеть Элену издали, пусть мельком, на балконе дома, где шелковый навес слегка колыхался от свежего бриза. Винченцио провел несколько часов, простершись в густой тени раскидистых сосен и блуждая, несмотря на жару, у подножия скал, нависших над береговой кромкой, и не уставал вызывать в воображении чарующую улыбку Элены и припоминать сладостные переlivы милого голоса.

Домой – в неаполитанский дворец отца – Винченцио возвратился лишь к концу дня, испытывая самые смешанные и противоречивые чувства, озабоченный и вместе с тем умиротворенный, погруженный в задумчивость и счастливый; воспоминание об услышанных из уст Элены словах благодарности вселяло в него самые лучезарные надежды, хотя он и не осмеливался строить в уме планы касательно того, какой образ действий изберет в будущем. Винченцио явился домой как раз вовремя, чтобы составить компанию матери в ее ежевечерней прогулке по Корсо; при виде каждой проезжавшей мимо нарядной кареты в нем вспыхивала надежда повстречать предмет своих неотступных размышлений, однако Элена там не появилась. Мать Винченцио, маркиза ди Вивальди, не преминула отметить про себя взволнованное состояние сына и необычную для него молчаливость; в попытке выяснить причины, вызвавшие в его поведении столь разительные перемены, она принялась было задавать ему вопросы, но ответы Винченцио только разожгли в ней еще большее любопытство; а посему, воздержавшись от дальнейших прямых расспросов, маркиза отложила разрешение поставившей ее в тупик загадки до того благоприятного случая, когда она сможет воспользоваться более изощренными способами, дабы возобновить свои расспросы.

Винченцио ди Вивальди был единственным отпрыском маркиза ди Вивальди – потомка одного из древнейших аристократических родов в Неаполитанском королевстве, баловня фортуны, пользовавшегося при дворе неограниченным влиянием и обладавшего властью еще более значительной, нежели его высокое происхождение. Маркиз равно кичился и знатностью

имени, и положением в обществе: чувство неоспоримого превосходства уравновешивалось в нем выдержанным в строгих принципах умом; гордыня руководила и нравственными его побуждениями, стремлением к почестям. Гордыня маркиза была, таким образом, его пороком и его добродетелью, его щитом и его ахиллесовой пятой.

Мать Винченцио также происходила из знатного семейства, мало в чем уступавшего роду Вивальди: ничуть не менее супруга тщеславилась она именитостью предков и кичилась своей собственной избранностью, однако благородство фамилии отнюдь не распространялось на ее внутренний душевный склад. Высокомерие и мстительность, вкуче с необузданностью страстей, сочетались в ней с лицемерием и лживостью: неутомимая в плетении изощренных интриг, она не обретала успокоения до тех пор, пока ей не удавалось отомстить незадачливой жертве, имевшей несчастье навлечь на себя ее неудовольствие. Любовь к сыну питалась в маркизе не столько материнской привязанностью, сколько тем, что она усматривала в Винченцио единственного наследника двух блистательных домов, предназначенного судьбой объединить и приумножить славу обоих.

Винченцио очень много унаследовал от отца и очень мало – от матери. Его гордость отличалась свойственным отцу благородным великодушием; но не чужды ему были и жгучие страсти матери, лишённые, впрочем, даже малейшей примеси притворства, двуличия и неукротимой жажды мести. По натуре своей Винченцио отличался редким чистосердечием и непосредственностью в проявлении чувств; легко вспыхивал – но и быстро отходил; раздражался любым знаком неуважения, однако охотно смягчался при виде сделанных уступок; высокие понятия о чести побуждали его к скорейшему примирению; неизменная приязнь к ближним располагала к восстановлению прежнего согласия и взаимной уважительности.

На следующий же день после первой встречи с Эллиной Винченцио вновь приблизился к вилле Альтьери, с тем чтобы, воспользовавшись полученным разрешением, осведомиться о здоровье синьоры Бьянки. Возможность вновь увидеть Эллину заставляла его сердце трепетать от радостного нетерпения, возраставшего с каждым шагом, так что у ворот он принужден был ненадолго задержаться, дабы перевести дух и хотя бы немного овладеть собой.

Вскоре у входа показалась старая служанка, которая провела гостя в небольшой зал, где Винченцио предстал перед синьорой Бьянки, занятой сматыванием в клубок шелковой нити. Больше в зале никого не было, хотя пустой стул, явно поспешно отодвинутый от пьедестала с вышиванием, указывал на совсем недавнее присутствие здесь Эллины. Синьора Бьянки отнеслась к визитеру со сдержанной любезностью, ограничившись сообщением самых скудных сведений в ответ на расспросы Винченцио о ее племяннице, появления которой он втайне ждал каждую секунду. Под самыми разнообразными предлогами Винченцио всячески старался тянуть время, пока наконец задерживаться долее сделалось неудобным: темы для разговора были исчерпаны полностью и участвовавшие со стороны синьоры Бьянки паузы ясно намекали на желание хозяйки дома проститься с посетителем. С омраченным сердцем, однако заручившись не слишком охотно данным разрешением снова осведомиться о ее здоровье в один из ближайших дней, преисполненный разочарования Винченцио покинул виллу.

На обратном пути через сад Винченцио не раз замедлял шаг, оглядываясь на дом в надежде различить сквозь решетку окна фигуру Эллины и озираясь вокруг, словно ожидал ее под роскошными кронами платанов; но тщетно взор юноши блуждал в поисках дорогого образа – и безысходное отчаяние свинцовым грузом отяготило его поступь.

Весь следующий день Винченцио посвятил розыску сведений о семействе Эллины, однако выяснить ему удалось немного. Стало известно, что Эллины – сирота, опекаемая единственной родственницей, теткой – синьорой Бьянки; род их, не приметный ни богатством, ни славой, постепенно приблизился к полному разорению. Кроме тетки, никого у Эллины не было. Но Винченцио и не подозревал о тайне, тщательно сберегаемой: Эллины всячески поддерживала свою старую тетушку, все достояние которой сводилось к маленькому имению, где

они жили; целые дни напролет девушка была занята вышиванием по шелку, исполняя заказы монахинь близлежащего монастыря, а те продавали ее работы приходившим к ним богатым неаполитанским дамам, причем с немалой для себя выгодой. Винченцио и не подозревал, что великолепное платье, в котором он так часто видел свою мать, изготовлено руками Эллены; не догадывался он и о том, кем выполнено множество рисунков, изображавших памятники античности и украшавших этажерку во дворце Вивальди. Знай Винченцио об этих обстоятельствах, они бы только разожгли страсть, которую, он понимал, следовало бы подавить, поскольку его родители увидели бы в них только доказательство имущественного неравенства двух семей и воспротивились бы их союзу.

Элена могла бы еще перенести нужду, но не презрение окружающих: именно стремление оградить себя от предрассудков и побуждало ее ревностно таить от мирских глаз свое неутомимое прилежание, делающее честь ее характеру. Она не стыдилась бедности, как не стыдилась и трудолюбия, помогавшего одолевать лишения, но душа ее инстинктивно бежала от тупоумного высокомерия и обидной снисходительности, с которой сытое довольство взирает порой на нужду. Ум Эллены еще недостаточно созрел, а взгляды ее были еще не так широки, чтобы укрепить в ней стоическое пренебрежение к язвительным выпадам злонамеренной глупости и помочь обрести горделивое утешение в достоинстве добродетели, не запятнанной зависимостью. Синьора Бьянки на склоне лет находила в Элене единственную опору и поддержку; племянница терпеливо сносила ее немощи и с неизменной чуткостью старалась облегчить страдания больной, отвечая на питаемую к ней тетушкой материнскую любовь дочерней привязанностью. Родную мать она потеряла еще во младенчестве, и с тех самых пор синьора Бьянки стала для нее второй матерью.

Так, в счастливой тиши уединения, не ведая тревог, за кропотливой неустанной работой, проводила свои дни Элена Розальба до того, как впервые увидела Винченцио ди Вивальди. Незаурядность юноши не могла не броситься ей в глаза, и Элена до глубины души была поражена достоинством его осанки и благородством всего его облика, выражавшего открытость и деятельную силу духа. Опасаясь, однако, отдаться чувствам, выходящим за рамки простого восхищения, Элена попыталась изгнать из памяти образ Винченцио и за привычными занятиями вернуть себе состояние безмятежного спокойствия, нарушенного нечаянным знакомством.

Вивальди меж тем, не находя себе места и изнывая от тоски, большую часть дня провел в беспрестанных попытках что-нибудь разузнать об Элене. Преисполненный страхами и дурными предчувствиями, он решился под покровом темноты вновь посетить виллу Альтьери, дабы найти отраду в близком присутствии той, кто занимала все его мысли, и тешить себя надеждой на счастливую случайность, которая позволила бы ему хотя бы одно мгновение лицезреть Элену.

Маркиза Вивальди устраивала у себя в доме званый вечер; заметив выказанные Винченцио подозрительные признаки нетерпения, она постаралась удержать его подле себя до самого позднего часа; Винченцио предстояло отобрать репертуар, пригодный для намеченного концерта, и устроить первое исполнение новой пьесы, сочиненной композитором, который обязан был своей громкой известностью хозяйке дома. Вечера маркизы славились по всему Неаполю пышностью и многолюдством; вот и сегодня во дворце Вивальди должен был собраться самый цвет аристократического общества; в нем образовалось две партии ценителей музыкального искусства: одни высоко превозносили талант автора – подопечного маркизы, другие же противопоставляли ему мастерство другого новоявленного гения. Ожидалось, что назначенная премьера так или иначе окончательно разрешит возникший спор. Неудивительно, что маркиза пребывала в большом волнении по поводу исхода соперничества, поскольку сберегала репутацию любимца столь же ревниво, как и свою собственную, и, занятая всевозможными хлопотами, не могла уделить делам сына слишком большую долю забот.

В первый же удобный момент, как только стало возможно уйти незамеченным, Винченцио покинул собрание и, закутавшись в плащ, поспешил к вилле Альтьери, расположенной не слишком далеко, в западной части города. Ни единая душа не попала ему навстречу – и, запыхавшись от волнения, он проник в сад; там, избавленный от необходимости соблюдать утомительный светский церемониал, вблизи жилища возлюбленной, он испытал на мгновение прилив такой всеобъемлющей радости, как если бы сама Эллена оказалась вдруг рядом с ним. Однако восторженность вскоре его покинула, сменившись безысходным чувством одиночества; юноше вообразилось, будто с Элленой они разлучены навечно, и сознание этого было еще горше, поскольку всего лишь минуту назад он едва ли не уверил себя в ее непосредственной близости.

Время было уже довольно позднее, и дом тонул в темноте, из чего Винченцио заключил, что обитатели его уже отправились на покой и не стоит даже надеяться на нечаянную встречу с Элленой. Но ощущение близкого ее присутствия переполняло Винченцио такой радостью, что ему захотелось во что бы то ни стало подобраться к дому вплотную и найти окно спальни, где поживает Эллена. Преодолеть живую изгородь, образованную густым кустарником, не составило большого труда, и вскорости Винченцио вновь ступил под колонны знакомого портика. Близилась полночь, и царившая вокруг тишина казалась еще более глубокой, когда снизу доносился тихий всплеск набежавшей на берег волны или когда раздавался глухой рокот Везувия, порой освещавшего горизонт внезапными короткими вспышками, после чего окрестность вновь погружалась во тьму. Возвышенная величавость пейзажа вполне отвечала душевному состоянию Винченцио, и он чутко вслушивался в неясный гул, напоминавший ему отдаленное смутное рокотание грома за грозowymi облаками. После каждого раската следовала пауза, и в ожидании нового все существо Вивальди наполнялось благоговейным трепетом; погруженный в задумчивость, он неотрывно взирал на туманные очертания берегов залива и на море, едва различимое в призрачном свете, лившемся с безоблачного неба. По серой водной поверхности бесшумно скользило множество судов, ведомых только без устали сиявшей в выси Полярной звездой. Освежающая морская прохлада насыщала почти недвижный воздух тонкими благоуханиями; еле заметный ветерок слегка шевелил верхушки раскидистых сосен, простерших над виллой свои могучие ветви; разлитое вокруг безмолвие нарушали только шорох прибоя и стоны далекого вулкана – как вдруг слух Винченцио уловил донесшееся со стороны пение. Сурово-торжественная мелодия заставила его встрепенуться; это был, вне сомнения, реквием – но где находились таинственные исполнители? Напев, казалось, то медленно приближался, то удалялся, наполняя собой окрестность. Это поразило Винченцио: он знал, что в иных частях Италии реквием сопровождает умирающего на смертном одре; здесь же скорбная процессия, казалось, шествовала по какой-то тропе – если не плыла по воздуху... Относительно характера песнопения Винченцио нимало не сомневался: ему уже доводилось слышать эту мелодию ранее, причем при таких обстоятельствах, которые навсегда врезали этот напев в его память. Вслушиваясь в стихавшие на расстоянии звуки, он вдруг ясно вспомнил, что это – та самая божественная мелодия, которая лилась из уст Эллены в церкви Сан-Лоренцо. Охваченный волнением, Винченцио ринулся вперед и, обогнув по садовой аллее дом, услышал голос самой Эллены, возносивший полуночный гимн Пресвятой Деве Марии под аккомпанемент лютни, звучавшей в ее руках необычайно нежно и проникновенно. Зачарованный Винченцио застыл на месте, боясь упустить хотя бы один перелив ангельски кроткого голоса, выражавшего благочестие, каковое могло быть присуще, наверное, только святым. Озираясь в поисках возлюбленной, Винченцио заметил свет, пробивавшийся сквозь заросли дикого жасмина, поспешно шагнул ближе – и заметил в окне Эллену. Решетка была поднята, с тем чтобы ночная прохлада без помех проникала внутрь, и комната Эллены представилась юноше как на ладони. Девушка только что поднялась с колен, окончив вечерние молитвы перед небольшим алтарем; лицо ее все еще светилось набожным восторгом; она возвела к небесам взор, испол-

ненный страстной веры и преданности вышним силам; лютню она не успела отложить в сторону, однако, казалось, совершенно забыла обо всем, что ее окружает. Ее дивные волосы были небрежно стянуты шелковой сеткой, но непокорные вьющиеся пряди падали врассыпную на шею, обрамляя прекрасное лицо, которое не скрывала теперь никакая вуаль. Легкое свободное одеяние, гибкий стан, стройность и соразмерность черт, совершенство всего облика придавали ей сходство с греческой нимфой.

Взволнованный Винченцио колебался между желанием воспользоваться неожиданно представившейся ему возможностью – представившейся, быть может, в первый и последний раз – открыть возлюбленной свое сердце и боязнь оскорбить ее непрошеным вторжением в уединенную обитель, да еще в столь сокровенную минуту; не зная, на что решиться, он вдруг услышал, как Эллена, вздохнув, со сладостной мелодичностью тона, свойственной ее голосу, произнесла вслух его имя. Пораженный Винченцио, с жадным нетерпением ожидая слов, какие могли бы затем воспоследовать, нечаянно задел ветку жасмина, прильнувшую к решетке; Эллена обратила глаза к окну, но юношу целиком скрывала густая листва. Эллена, однако же, направилась к окну с намерением опустить решетку – и тут Вивальди, не в силах долее сдерживать свой порыв, отбросил все колебания и предстал перед ней. Эллена застыла на месте, и по щекам ее разлилась смертельная бледность; затем, поспешно закрыв окно, она без промедления покинула комнату. Вивальди охватило такое чувство, словно с ее уходом он распрощался со всеми своими надеждами.

Побродив еще некоторое время по саду вокруг безмолвного дома, в котором не горело ни единого огня, опечаленный Винченцио отправился в обратный путь. Теперь он начал задаваться вопросами, которые следовало бы поставить перед собой ранее: ради чего пустился он в столь рискованное предприятие и какие опасности таит каждое новое мучительно-радостное для него свидание с Элленой; ведь ее общественное положение и более чем скромная обеспеченность материальными благами никоим образом не позволяли рассчитывать на то, что родительское благословение скрепит их брак.

Предавшись тяжким раздумьям, Винченцио то склонялся к решению отказаться от дальнейших встреч с Элленой, то содрогался при одной мысли о необходимости добровольного разрыва; возможность разлуки вселяла в его сердце подлинное отчаяние. Миновав арку полуразрушенного сооружения, нависшую над дорогой, Винченцио столкнулся вдруг с человеком в одеянии монаха, лицо которого затенял опущенный капюшон. Преградив Винченцио путь, незнакомец обратился к нему по имени и произнес:

– Синьор, за каждым вашим шагом следят! Остерегайтесь показываться у виллы Альтери!

С этими словами незнакомец исчез, прежде чем Вивальди успел задвинуть обратно меч, наполовину вытасканный им из ножен, и потребовать объяснения услышанного. Неоднократно он громким голосом окликал неизвестного, призывая того вернуться, и провел более часа в состоянии взвинченного ожидания, не двигаясь дальше, однако явление не повторилось.

По возвращении домой Винченцио не переставал думать о случившемся и терзался вспыхнувшим вдруг острым чувством ревности: перебрав в уме всевозможные догадки, он пришел к выводу, что предостережение вынесено ему не кем иным, как соперником, и грозящая ему опасность сосредоточена на острие кинжала, зажатого в руке ревнивца. Таковая убежденность разом раскрыла юноше глаза на силу охватившей его страсти и на неосторожность, с какой он обнаружил свои чувства. Однако сколь же далеко уводил этот порыв осмотрительности от вступления на путь послушного следования родительской воле, если, терзаемый мукой, дотоле ему неведомой, Винченцио твердо задумал в любом случае признаться в любви и настоятельнейшим образом добиваться руки Эллены. Злосчастный юноша, он и не подозревал о роковом заблуждении, в которое ввергало его могущество страсти!

Во дворце Винченцио узнал, что маркиза, обеспокоенная долгим отсутствием сына, не раз осведомлялась о том, где он может обретаться, и отдала слугам приказание, чтобы ей доложили о времени его возвращения. Сама она, впрочем, удалилась в спальню покои, однако маркиз, сопровождавший монарха до одной из королевских вилл на берегу залива, появился под собственным кровом еще позже Винченцио и, прежде чем отправиться на свою половину, окинул юношу весьма неодобрительным взглядом, но, воздержавшись от каких-либо объяснений, ограничился на прощание двумя-тремя малозначащими фразами.

Вивальди заперся у себя, чтобы отдаться размышлениям – если только можно назвать размышлением противоборствующие чувства, заглушающие трезвый голос рассудка. Часами расхаживал он из угла в угол по своим комнатам, томимый воспоминаниями об Эллине: юношу то обурежала ревность, то страшили последствия безоглядного шага, который он намерен был предпринять. Нрав отца и кое-какие черты, присущие характеру матери, Винченцио знал как нельзя лучше, и у него было вполне достаточно оснований предвидеть с замиранием сердца непримиримый запрет, который они наложат на замышляемую им женитьбу; однако, вспоминая о том, что он – единственный их сын и наследник, юноша начинал уповать на возможность прощения с их стороны, хотя именно это обстоятельство должно было усилить их разочарование. Эти размышления прерывались опасениями, что Эллина уже прониклась, может стать, привязанностью к воображаемому сопернику; некоторое утешение приносило ему, правда, воспоминание о том, с каким нежным вздохом девушка произнесла наедине сама с собой имя Винченцио... Но, положим, сватовство его будет встречено благосклонно; вправе ли он домогаться руки Эллины в надежде назвать ее супругой, если брачная церемония должна будет совершиться втайне? Винченцио даже не дерзал допустить, что Эллина изъявит готовность породниться с семейством, которое взирает на нее свысока; при этой мысли им опять овладело уныние.

Рассвет застал Винченцио в прежнем расстройстве духа, однако он пришел к твердому решению: он вознамерился пожертвовать правами, дарованными ему рождением, ради свободы выбора, в котором заключалось, как он полагал, счастье всей его жизни. Но прежде чем отважиться на объяснение с Эллиной, необходимо было увериться, питает ли она к нему сердечную склонность, или же любовь ее отдана счастливому разлучнику, за имя которого Винченцио дорого бы дал. Впрочем, одного лишь желания дознаться до истины было недостаточно: нельзя было преступить границы почтительности по отношению к Эллине и оскорбить ее неделикатностью; следовало опасаться также того, что новость станет известна семье прежде, нежели он заручится нерушимой привязанностью Эллины.

В поисках выхода Винченцио открылся другу, на которого издавна привык полагаться: его суждения он и ожидал теперь с трепетом и не столько стремился обрести поддержку союзника, сколько желал услышать беспристрастное мнение со стороны. Приятеля Винченцио звали Бонармо; на роль нелицеприятного советчика он вряд ли мог претендовать, однако тут же, без стеснения, высказал свой совет. Для выяснения того, холодно или благосклонно отнесется Эллина к притязаниям Вивальди, Бонармо предложил, в соответствии с обычаями страны, исполнить под ее окном серенаду; по его убеждению, девушка непременно должна подать знак, свидетельствующий о ее равнодушии к Винченцио; в противном же случае она не появится. Вивальди решительно воспротивился этой грубой и неуместной затее, нимало не сообразной с возвышенным характером его священного чувства; не допускал он также и возможности того, что тонкий и благородный душевный склад Эллины позволит столь ничтожному проявлению галантности польстить ее самолюбию и пробудить интерес к поклоннику; а если звуки серенады даже и отзовутся в ее сердце, Винченцио не сомневался, что Эллина ничем не обнаружит своего внутреннего порыва.

Бонармо высмеял колебания друга, слишком пристрастного, по его мнению, к мелочной щепетильности и разного рода романтическим тонкостям, извинительным разве что при пол-

ном незнании света. Но Вивальди немедля прервал дальнейшие подшучивания на этот счет и запретил ему называть свою деликатность излишне романтической и тем более говорить об Эллине в подобном тоне. Бонармо тем не менее настаивал на исполнении серенады, которое помогло бы выяснить, действительно ли Эллина увлечена Вивальди, еще до того, как он открыто сделает ей предложение. Вивальди, встревоженный и подавленный недобрыми предчувствиями, более всего жаждал избавиться от тягостной неизвестности – и в конце концов, не столько поддавшись на уговоры приятеля, сколько стремясь любой ценой покончить с томительным неведением, дал согласие произвести рекомендованный Бонармо опыт тем же вечером. Винченцио ухватился за серенаду не столько потому, что надеялся на успех, сколько для того, чтобы найти прибежище от отчаяния, в котором он пребывал.

Закутавшись поплотнее в плащи, дабы остаться неузнанными, и укрыв под полой музыкальные инструменты, друзья с наступлением сумерек в задумчивом молчании направились к вилле Альтьери. Они уже миновали арку, где накануне влюбленного подстерегал незнакомец, как вдруг Винченцио услышал странный звук: он откинул с лица капюшон и увидел перед собой ту же самую фигуру, что и в прошлый раз! Не успел он вымолвить и слова, как незнакомец, преградив ему путь, торжественно произнес:

– Беги прочь от виллы Альтьери, иначе тебя ждет участь, которой ты должен страшиться.

– Чего страшиться? – вскричал Вивальди, невольно отшатнувшись. – Заклинаю тебя, говори!

Однако монах уже исчез бесследно, словно растаял в окружающей тьме.

– Dio mi guardi!² – воскликнул Бонармо. – Этому и поверить нельзя. Давай вернемся в Неаполь: повторным предупреждением пренебрегать нельзя.

– Нет, подобного обращения просто нельзя терпеть! – воспротивился Вивальди. – Куда же делся этот монах?

– Проскользнул мимо меня, – отозвался Бонармо, – и я не успел его задержать.

– Я готов к худшему, – заявил Вивальди. – Если у меня есть соперник, лучше всего завязать с ним знакомство прямо сейчас. Идем!

Бонармо запротестовал, указывая на грозную опасность, неминуемо уготованную им ввиду такой опрометчивости.

– Очевидно, это твой соперник – и в рукопашной схватке с наемными головорезами одной храбрости тебе будет мало.

При упоминании о сопернике в жилах Вивальди закипела кровь.

– Если опасность кажется тебе слишком грозной, – бросил он, – я пойду один!

Задетый упреком, Бонармо молча последовал за Винченцио, и вскоре они без помех достигли виллы. Винченцио уже неплохо освоился с дорогой, и они проникли в сад незамеченными.

– Ну, где же твои лихие головорезы, о которых ты меня предупреждал? – едко осведомился Винченцио у приятеля.

– Говори тише, – прошептал Бонармо, – возможно, мы даже в пределах их досягаемости.

– Возможно также, что и они в пределах нашей досягаемости, – заметил Вивальди.

Шаг за шагом неустрашимые друзья подошли к апельсиновой роще, находившейся перед самым домом; здесь они, после крутого подъема, остановились перевести дух и настроить свои инструменты. Ночь была тихая, но только теперь до них впервые донесся отдаленный гомон толпы – и внезапно небосклон озарился сверкающим фейерверком. Огни взлетели над виллой, расположенной на западной стороне залива, где был устроен праздник в честь рождения принца королевской крови. С неизмеримой вышины радужные сполохи осветили тысячи обращенных к ним лиц, позолотили воды залива, усеянного множеством лодок и шлюпок; яснее

² Храни меня, Господи! (*ит.*)

вырисовались прихотливые очертания горной гряды, окаймляющей величественный Неаполь, который привольно раскинулся на прибрежных холмах; отчетливо виднелось каждое здание, на плоских крышах всюду теснились зрители, Корсо была загружена каретами и озарена факелами.

Пока Бонармо созерцал эту великолепную картину, Вивальди устремил взгляд на жилище Эллены, видневшееся из-за деревьев, в надежде, что, привлеченная зрелищем, она выйдет на балкон, однако там было темно и ни малейший проблеск света не указывал на ее присутствие.

Растянувшись на мягком дерне, приятели слышали вдруг, как вблизи зашуршала листва, словно кто-то прокладывает себе путь сквозь густые заросли. На оклик Винченцио ответа не последовало, и все стихло.

– За нами наблюдают! – встрепнулся Бонармо. – Быть может, убийца уже готовится нанести удар... Скорее бежим отсюда!

– О, если бы мое сердце было так же недосыгаемо для стрел любви, сразившей мой покой, – воскликнул Вивальди, – как твое для вражеского кинжала! Друг мой, тебя, видно, ничто не занимает, коль скоро у тебя столько досуга для страха.

– Страхиться меня подстрекает не слабость, но благоразумие, – желчно возразил Бонармо. – Быть может, ты тогда только увидишь, как мне его недостает, когда тебе оно более всего понадобится.

– Понимаю, – отозвался Вивальди. – Что ж, давай немедля покончим с этим делом – и я дам тебе удовлетворение, раз ты считаешь себя оскорбленным. Я так же готов загладить обиду, как нетерпим к тем, которым подвергают меня.

– Хорошо же! – вскричал Бонармо. – Ты желаешь заплатить за нанесенное другу оскорбление его же кровью!

– О нет, никогда и ни за что! – воскликнул Вивальди, бросаясь другу на шею. – Прости мне мою вспыльчивость – причиной тому мое нынешнее помраченное состояние.

Бонармо сжал Винченцио в своих объятиях.

– Довольно, ни слова больше! Ты вновь мой друг, самый близкий моему сердцу.

За разговором они миновали апельсиновую рощу и приблизились к вилле; там они расположились у балкона, нависавшего над решетчатым окном, через которое предшествующей ночью Вивальди увидел Эллену. Настроив инструменты, друзья начали серенаду с дуэта.

Вивальди обладал приятным тенором, и чуткая впечатлительность, благодаря которой он страстно обожал музыку, помогала ему с утонченным искусством следовать всем прихотливым извилям мелодии, наделяя ее предельно простой и вместе с тем трогательной выразительностью. Казалось, душа его изливается в звуках – нежная, молящая и, однако, исполненная необыкновенной силы. В тот вечер восторженность позволила ему подняться до самых вдохновенных высот красноречия, на которое только способна музыка; какое воздействие оказала она на Эллену, судить было трудно; никто не появился на балконе, нельзя было уловить и малейшего признака одобрения. Ни единый шорох не нарушил ночного безмолвия, когда смолкла серенада; нигде в окнах дома не мелькнуло и огонька; во время паузы, впрочем, Бонармо почувствовал, будто поблизости кто-то перешептывается исподтишка, опасаясь быть услышанным, – он вслушался, но тщетно. Подчас голоса слышались совершенно явственно, однако туг же их поглощала мертвая тишина. Вивальди посчитал этот шум смутным отголоском кликов толпы на берегу, но Бонармо не так-то легко было переубедить.

Первая попытка друзей привлечь к себе внимание потерпела неудачу, и они, обогнув дом, остановились перед портиком, но и это оказалось бесполезным: терпеливо предаваясь музицированию, спустя час они вынуждены были отказаться от намерения снискать благоволение у непреклонной Эллены. Вивальди, забыв о том, какой ничтожной казалась ему надежда свидеться с Элленой, впал в безысходное отчаяние; Бонармо, не на шутку встревоженный

последствиями такого отчаяния, не жалел стараний, чтобы утвердить Винченцио во мнении, что никакого соперника у него нет, хотя только что усердно втолковывал ему обратное.

Так или иначе, друзьям пришлось покинуть сад, несмотря на протесты Вивальди, желавшего во что бы то ни стало добиться от нарушителя его спокойствия вразумительного объяснения его темных угроз; Бонармо же, увещевая друга, указывал на трудности, сопряженные с розыском; к тому же, по его мнению, подобная дерзость могла бы привести к распространению вести о влюбленности Винченцио, который более всего страшился огласки.

Вивальди наотрез отказался прислушаться к советам Бонармо.

– Посмотрим, дерзнет ли вновь подступиться ко мне этот демон в личине монаха на прежнем месте; если да – то ему не поздоровится; если же он не явится – я стану ждать его возвращения с тем же упорством, с каким он выслеживал меня. Укроюсь в тени свода и не двинусь с места, пока не настанет мой смертный час!

Бонармо, пораженный силой чувства, вложенной Вивальди в это восклицание, оставил дальнейшие уговоры, однако просил друга подумать, достаточно ли у него с собой оружия.

– На вилле Альтьери оно тебе ни к чему, а там может понадобиться. Помни слова незнакомца: им известен каждый твой шаг.

– При мне меч и, как всегда, кинжал, – ответил Вивальди, – а что есть у тебя?

– Тише! – остерег его Бонармо у подножия скалы, нависшей над дорогой. – Мы уже почти у цели: вон та самая арка!

Арка смутно темнела в отдалении, перекинутая между двумя скалами: на одной виднелись развалины римской крепости, частью которых была эта арка; другую сплошь покрывали у поворота дороги густые заросли тенистых сосен и непроглядная дубовая роща.

Друзья шли осторожно, стараясь ступать возможно тише, то и дело окидывая окрестности подозрительным взором, всечасно ожидая внезапного явления монаха из какого-либо укрытия в расселине скалы. Однако вплоть до самой арки никто навстречу им не попался.

– А мы пришли раньше, чем он, – произнес Вивальди, едва они оказались в полной темноте.

– Говори шепотом, дружище, – отозвался Бонармо, – быть может, здесь прячется кто-то еще. Не нравится мне это место...

– Кому, кроме нас, могло бы вздуматься искать себе прибежище в столь мрачном закоулке? – прошептал Винченцио. – Разве что бандитам, которым по нраву угрюмые пристанища, – а сказать по правде, здешний приют вполне согласуется сейчас с моим настроением.

– Он вполне согласуется и с замыслами бандитов, – заметил Бонармо. – Выйдем туда, где посветлее, чтобы хорошо видеть, кто идет.

Вивальди возразил, что на открытом пространстве они сами легко попадут под наблюдение, добавив:

– Если нас обнаружит мой неведомый мучитель, все пропало: ведь он либо не приходит вовсе, либо застигает меня врасплох, не давая возможности подготовиться к поединку.

С этими словами охваченный нетерпением Вивальди затаился невидимкой в дальнем углу под аркой, у самого подножия вырубленной из камня лестницы, которая вела в крепость. Бонармо присоединился к нему и после некоторого размышления обратился к исполненному нетерпения другу с вопросом:

– Ты действительно веришь, что наша попытка задержать монаха окажется успешной? Монах исчез в мгновение ока – с быстротой, недоступной смертным!

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Вивальди.

– Только то, что, может быть, я стал не чужд суевериям. Здешний мрак не располагает к трезвым суждениям, и я чувствую, что готов подчиниться любым предрассудкам.

Вивальди слегка улыбнулся.

– Но согласись, – продолжал Бонармо, – что появление этого монаха сопряжено с обстоятельствами, далекими от заурядных. Кто подсказал ему твое имя, которое он назвал, как ты говоришь, при первой с тобой встрече; как ему стало известно, откуда ты идешь и намерен ли прийти снова? Каким колдовством он проник в твои планы?

– Я не склонен полагать, что он знаком с моими планами, – заметил Вивальди. – Но даже если бы и был, для разгадки таковых сверхъестественного дара вовсе не требуется.

– Итог сегодняшнего вечера, – настаивал Бонармо, – должен убедить тебя, что все твои намерения хорошо ему известны. Неужели Эллена, если только она к тебе равнодушна и сердце ее свободно, хоть на миг не показалась бы у окна?

– Ты не знаешь Эллены, – возразил Вивальди, – и только поэтому я прощаю тебе и этот вопрос. Но, конечно, если бы она была настроена ко мне милостиво, наверняка какой-либо знак одобрения...

Винченцио умолк на полуслове.

– Незнакомец предостерег тебя от посещения виллы Альтьери, – напомнил Бонармо. – Он, по-видимому, был осведомлен об ожидавшем тебя приеме и знал об опасности, каковой ты пока что счастливым образом избежал.

– Еще бы, об ожидавшем меня приеме он был осведомлен превосходно, как нельзя лучше! – вскричал Вивальди, совершенно забыв об осмотрительности. – Скорее всего, именно он и есть тот самый соперник, против которого он же меня и предостерегал. Маскарад ему понадобился, чтобы обмануть мою доверчивость и помешать мне искать Эллену. И я должен смиренно поджидать, пока он изволит тут показаться? Пристало ли мне красться за соперником, будто я какой-нибудь злоумышленник?

– Ради бога, умерь свои порывы! – взмолился Бонармо. – Вспомни, где мы сейчас находимся. Твои соображения в высшей степени неправдоподобны.

Не без труда ему удалось убедить Вивальди в основательности приведенных резонов, и юноша, мало-помалу успокоившись, постарался взять себя в руки и вновь набраться терпения.

Друзья оставались начеку еще довольно долго, как вдруг Бонармо заметил неясную фигуру, бесшумно приблизившуюся к проходу под аркой со стороны виллы Альтьери. Фигура эта, замедлив шаг, застыла у самого прохода, едва различимая в призрачном свете глубоких сумерек. Взор Вивальди был устремлен в сторону Неаполя – он следил за дорогой, Бонармо же, опасаясь опрометчивости приятеля, медлил в нерешительности: ему казалось более благоразумным выждать и вполне удостовериться, точно ли перед ними поджидаемый ими монах. Высокий рост и темное облачение, в которое он был закутан, побудили Бонармо заключить, что это именно тот, кого они подкарауливают; он потянул было Винченцио за рукав, однако фигура, ринувшись вперед, растаяла во мраке, хотя Вивальди успел уже понять, что вызвало движение друга и его многозначительное молчание. Шагов никто из них не слышал – и, ни капли не сомневаясь, что незнакомец, кем бы он там ни был, остается где-то здесь, под аркой, друзья замерли в напряженном оцепенении. Совсем рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки, что-то прошелестело, напоминая шуршание складок плаща, и Вивальди, не в состоянии более совладать с собой, бросился с распростертыми руками навстречу противнику с громким требованием назвать себя.

Шелест прекратился, а ответа не последовало. Бонармо обнажил меч, угрожая рубить им по воздуху во все стороны, Пока не поразит того, кто затаился в темноте; он обещал ему полную безопасность, если тот добровольно вступит с ними в объяснения. Таковое ручательство скрепил своим согласием и Вивальди. По-прежнему им отвечала только тишина, но приятелям показалось, что ее нарушило чье-то стремительное движение, словно мимо них скользнул человек – проход был достаточно широк для этого. Вивальди кинулся вслед, однако не увидел никого, кто мог бы, метнувшись из-под арки, раствориться во мгле, окутывавшей дорогу.

– Клянусь, мимо нас кто-то прошел! – прошептал Бонармо. – Мне даже послышалось, будто кто-то взбежал по ступеням, ведущим к крепости.

– Тогда пойдем за ним! – воскликнул Вивальди, рванувшись к лестнице.

– Остановись, ради всего святого, назад! – вскричал Бонармо. – Подумай только, что ты делаешь! Мы окажемся в полной тьме среди развалин – и убийца заманит нас к себе в берлогу!

– Это тот самый монах! – твердил Вивальди, поднимаясь все выше и выше. – Теперь он от меня не уйдет!

Бонармо в явной нерешительности задержался у подножия лестницы, хотя Винченцио скрылся из виду; наконец, устыдившись собственного малодушия и не желая оставлять друга на произвол судьбы, поспешил за ним, кое-как одолевая выщербленные ступени.

Достигнув вершины скалы, Бонармо оказался на террасе, расположенной прямо над аркой: некогда здесь было военное укрепление, позволявшее с обеих сторон наблюдать за дорогой через расщелину. В обломках массивных стен все еще сохранялись бойницы, предназначенные для лучников, и только они напоминали о военном прошлом этого оборонного сооружения. Терраса вела к сторожевой башне на противоположной скале, почти целиком скрытой в гуще раскидистых сосен, и служила, таким образом, надежным защитным оплотом, а также линией коммуникации между крепостью и аванпостом.

Тщетно Бонармо искал своего друга – только эхо разносило меж камней его настойчивые призывы. После некоторого колебания Бонармо решил направиться не к сторожевой башне, а в главное здание крепости, стены которой, построенные на крутых склонах, были едва различимы во тьме. От некогда неприступной цитадели время сохранило только мощную круглую башню, окруженную римскими арками; у края скалы громоздились руины, о первоначальном назначении которых можно было строить лишь смутные догадки.

Бонармо очутился среди громадных стен бастиона, но непроглядный мрак помешал ему двинуться дальше; несколько раз выкрикнув имя Вивальди, он возвратился на свежий воздух.

Приблизившись к беспорядочно раскиданным руинам, вызвавшим его любопытство, Бонармо различил, как ему показалось, чей-то негромкий голос – но, пока он в тревоге к нему прислушивался, навстречу ему из провала устремился человек с обнаженным мечом. Это был не кто иной, как Винченцио. Бонармо бросился ему навстречу; Вивальди задышался, лицо его покрывала бледность; он далеко не сразу услышал вопросы Бонармо и смог заговорить в ответ.

– Идем отсюда, – едва вымолвил Вивальди, – скорее прочь отсюда!

– С превеликой охотой, – отвечал Бонармо, – но объясни, где ты был, что видел и почему ты так взволнован.

– Не задавай вопросов – скорее идем отсюда! – повторил Вивальди.

Друзья спустились со скалы бок о бок; возле арки Бонармо полюбопытствовал – скорее в шутку, нежели всерьез, – не продолжить ли им здесь ночное бдение, но Винченцио ответил «Нет!» с энергией, которая поразила его. Торопливо шагая по дороге к Неаполю, они почти не разговаривали; на все расспросы приятеля Винченцио с явной неохотой отделялся скупыми фразами – и Бонармо, сгорая от любопытства, не переставал ломать себе голову над причинами, внезапно побудившими Вивальди к подобной сдержанности.

– Так это и был тот самый монах? – не выдержал Бонармо. – Ты сумел наконец настичь его?

– Не знаю, что и думать, – пробормотал Вивальди. – В такой растерянности я еще никогда не был.

– Выходит, ему удалось скрыться?

– Об этом мы поговорим, – отвечал Вивальди. – Как бы то ни было, дело на этом не кончается. Я вернусь сюда завтра ночью с факелом; рискнешь ли ты отправиться вместе со мной?

– Прежде чем согласиться, я должен знать, зачем тебе это нужно.

– Я вовсе не принуждаю тебя идти, а зачем мне это нужно – ты уже знаешь.

– Значит, личность незнакомца, как и раньше, тебе неведома и ты все еще не уверен, за кем ты гнался?

– Вот именно; завтра ночью, надеюсь, с неизвестностью будет покончено.

– Поразительно! – вскричал Бонармо. – Только-только я был свидетелем ужаса, написанного у тебя на лице, когда ты выбежал из крепости Палуцци, и вот ты уже хочешь вернуться. И почему ночью, почему не днем, когда опасность не столь велика?

– Уж не знаю, что опаснее, – возразил Вивальди. – Пойми, тайный ход, куда я проник, недосыгаем для дневного света: его можно обследовать только с факелами в руках, когда бы мы ни пришли туда.

– Если факелы необходимы, как же тебе посчастливилось выбраться на волю в полном мраке? – воскликнул Бонармо.

– Сам не могу понять – мне было не до того; меня словно направляла какая-то невидимая рука.

– И все-таки, если я пойду с тобою, – заметил Бонармо, – нам в любом случае лучше прийти туда днем, когда светло. Чистое безумие вновь искушать разбойников (а ими здешние окрестности наверняка кишмя кишат), да еще в полночь, когда им всего вольготнее.

– Я опять буду караулить на прежнем месте под аркой, – заявил Вивальди, – прежде чем принять крайние меры. А это среди бела дня невыносимо. К тому же мне надо идти в определенный час – тот самый, когда здесь обычно показывается монах.

– Значит, он ушел от тебя, – сказал Бонармо. – И ты до сих пор не знаешь, кто он.

В ответ Вивальди только осведомился, готов ли друг к нему присоединиться. «Если нет, – добавил он, – я постараюсь найти себе другого компаньона».

Бонармо сказал, что должен подумать, и обещал сообщить о своем решении до следующего вечера.

Скоро друзья вошли в город и расстались, уже за полночь, у ворот дворца Вивальди.

Глава 2

*Оливия: А что б вы сделали?
Виола: У вашей двери
Шлаши я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной, слагал бы песни
О верной и отвергнутой любви
И распевал бы их в глухую полночь;
Кричал бы ваше имя, чтобы эхо
«Оливия!» холмам передавало:
Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы³.*

Шекспир У., Двенадцатая ночь

Смысл предостережения, услышанного от монаха, по-прежнему оставался для Вивальди темен, и поэтому, дабы избавиться от мучительной неизвестности касательно соперника, юноша твердо вознамерился посетить виллу Альтьери и прямо заявить о своих чувствах. После ночного приключения он пустился в путь на следующее же утро, однако в просьбе свидеться с синьорой Бьянки ему было отказано. С величайшим трудом добился Винченцио от престарелой экономки согласия передать хозяйке дома настоятельную мольбу уделить ему хотя бы несколько минут. На сей раз желанию юноши не воспротивились, и экономка провела его в ту самую комнату, через окно которой он не столь давно лицезрел Эллену. Там ему было велено немного подождать, пока явится синьора Бьянки.

Оставшись в одиночестве, Винченцио предался самым разноречивым переживаниям: то трепетал от радостного нетерпения, то испытывал необычайный подъем духа, восторженно взирая на алтарь, у которого Эллена возносила слова молитвы и где еще и теперь драгоценный образ рисовался его мечтам; с нежностью созерцал он окружавшие его предметы, к которым еще совсем недавно обращались глаза его возлюбленной. Вся обстановка, столь знакомая Эллене, возымела для Винченцио некий ореол святости, запечатленной в тайниках его сердца, и воздействовала на его чувства едва ли не так же, как и ее присутствие. Прикоснувшись к брошенной лютне, которой она так часто касалась, Винченцио затрепетал, а когда пальцы его пробежали по струнам, словно бы прозвучал голос Эллены. Стоило Винченцио взглянуть на забытый на подставке незаконченный рисунок танцующей нимфы – и ему уже не надо было гадать об имени художника. Рисунок представлял собой изображение статуи из Геркуланума, однако на нем явственно лежала печать подлинно оригинального таланта. Воздушные очертания танцовщицы были исполнены утонченной грации: казалось, она вот-вот сделает шаг. Вивальди не без удивления обнаружил, что рисунок относится к целой серии, украшавшей также и стены кабинета его отца; ранее он считал, что это единственные копии, которые дозволено было снять с оригиналов, хранившихся в Королевском музее.

Все вокруг живо говорило Винченцио о присутствии Эллены: даже цветы, в изобилии рассыпанные по комнате, источали аромат, который кружил ему голову и будоражил воображение. В ожидании синьоры Бьянки он все более и более волновался; опасаясь, что будет не в силах предстать перед хозяйкой дома, он не раз и не два порывался обратиться в бегство, но вот за дверью наконец послышались медленные шаги – и у Винченцио вмиг перехватило дыхание. В обличии синьоры Бьянки не было ничего такого, что могло бы вызвать рабелепный трепет; сторонний наблюдатель, верно, не удержался бы от улыбки при виде того, как охваченный смятением Вивальди, с потупленным взором, робко шагнул навстречу почтенной

³ Пер. Э. Л. Линецкой.

синьоре и в ответ на ее не слишком любезное приветствие склонился над ее увядшей рукой. Синьора Бьянки отнеслась к посетителю более чем сдержанно, и Винченцио понадобилось время, чтобы собраться с духом для изложения причин своего визита, однако сделанное им признание, по всей видимости, отнюдь ее не удивило. Сохраняя полнейшую невозмутимость, синьора Бьянки не без некоторой строгости выслушала любовные излияния юноши, обращенные к ее племяннице; когда же он принялся умолять ее споспешествовать скорому заключению их брака, синьора ответила:

– Я не вправе не отдавать себе ясного отчета в том, что столь высокопоставленное семейство, как то, к которому вы принадлежите, наверняка всеми способами воспротивится подобному неравному союзу; более того, я достаточно наслышана, какое исключительное значение придают громкой родословной маркиз и маркиза Вивальди; можно даже сказать, гордость знатными предками – их отличительная фамильная черта. Ваши намерения родителям вашим либо неприятны, либо неизвестны – и позвольте мне заверить вас, синьор: юная синьора ди Розальба, хотя и обладает куда более скромным именем, нимало не уступит им в чувстве собственного достоинства.

Вивальди терпеть не мог обиняков, но необходимость сказать всю правду ошеломила его. Искренность его признаний и сила страсти, слишком красноречивой, чтобы в ней можно было усомниться, несколько смягчили беспокойство синьоры Бьянки; у нее возникли соображения иного свойства. Ей ли было не сознавать, что в недалеком времени, согласно законам природы, она, из-за преклонного возраста вкупе с недугами, оставит Эллену юной, беспомощной сиротой, чье благополучие всецело будет зависеть от ее трудолюбия, а еще более – от ее благоразумия. Любящему сердцу синьоры Бьянки ясно рисовались беды, подстерегавшие одинокую девушку, столь же прекрасную, сколь и не искусенную в житейских делах; подчас синьора Бьянки даже подумывала о том, что вполне допустимо поступиться незыблемыми в иных обстоятельствах нравственными постулатами, лишь бы ее племянница оказалась под надежной опекой преданного и порядочного мужа, человека чести. Если в данном случае она втайне изменяла правилам высокой нравственности, отвергавшим саму мысль о возможности для Эллены тайного супружества, то ее материнская тревога должна была смягчить заслуженное ею порицание.

Однако, прежде чем принять определенное решение, необходимо было удостовериться, что Вивальди достоин нужного в этом положении доверия. Для того же, чтобы испытать постоянство его чувств, синьора Бьянки постаралась пока что не слишком поощрять его надежды. В свидании с Эленой ему было наотрез отказано вплоть до того времени, когда его предложение будет более основательно взвешено. На вопрос Винченцио о том, нет ли у него соперника – и, быть может, более удачливого, – синьора Бьянки отвечала уклончиво, избегая слишком однозначных утверждений, которые впоследствии трудно было бы без ущерба взять назад.

В конце концов Вивальди пришлось откланяться; из пучины отчаяния его вызволили, но надежды на будущее почти не дали; о сопернике ему ничего не сказали, но и сомнений в чувстве к нему Эллены не рассеяли.

Винченцио заручился дозволением синьоры Бьянки явиться к ней с визитом на следующий день, однако время, казалось, прекратило свой ход; найти способ скоротать пытку неизвестностью представлялось невыносимым – и на обратном пути в Неаполь Винченцио мучительно ломал голову, чем бы ему занять себя до вечера. Очутившись вдруг у хорошо знакомой арки, юноша огляделся по сторонам в поисках своего истязателя, но тщетно: монах исчез бесследно. Вивальди решил непременно вернуться сюда ночью, а также тайком посетить виллу Альтьери, надеясь тем самым снять с души бремя смутной тревоги.

Дома Винченцио передали, что его отец, маркиз Вивальди, строго велел сыну дожидаться его возвращения; послушный родительскому слову, Винченцио провел весь день безотлучно в стенах дворца, однако маркиз так и не приехал. Маркиза, призвав сына к себе, осведомилась

с многозначительным видом, где он пропадал и чем был занят, а затем обратилась с просьбой сопроводить ее вечером в Портичи, разрушив таким образом все намеченные Винченцио планы: юноша не смог ни узнать решения Бонармо, ни выследить монаха у крепости, ни посетить дом Эллены.

В Портичи Винченцио пробыл с маркизой до наступления ночи; по возвращении в Неаполь, вновь не застав отца дома, он так ничего и не смог узнать о предмете предстоящего разговора. Бонармо прислал записку с отказом сопутствовать другу в ночной экспедиции и настоятельно рекомендовал ему воздержаться от столь рискованного визита. Отправиться к крепости одному, без спутника, Вивальди не слишком-то хотелось, и он отложил поиски на сутки, однако ничто не могло воспрепятствовать его стремлению оказаться на вилле Альтьери. Не желая, после отказа Бонармо, просить его участия в своих новых планах, Винченцио взял с собой лютню и, поспешив в путь, приблизился к знакомым воротам раньше обычного.

Со времени захода солнца прошло уже более часа, но на горизонте все еще играли прозрачно-шафрановые закатные отблески, и бездонно чистый хрустальный купол небосвода изливал на дремавший мир особое, свойственное чудодейному климату южных широт, примиряющее сумеречное сияние. На юго-востоке отчетливо вырисовывались очертания Везувия, а сама гора была погружена во мрак и тишину.

До слуха Вивальди доносилась только оживленная перебранка бродяг, игравших на берегу в кости. Сквозь густую зелень плюща, который обвинял беседку под сенью апельсиновых деревьев, пробивался слабый свет; им овладела внезапная надежда увидеть там Эллену. Противоборствовать искушению было невозможно: юноша торопливо шагнул было вперед, но тут же сдержал свой порыв, усомнившись, позволительно ли исподтишка посягать на девическое уединение, превратиться в тайного наблюдателя чужих мыслей. Благородные колебания длились, впрочем, недолго: уступив неодолимому соблазну, Винченцио бесшумно скользнул к беседке и стал в тени ветвей апельсинового дерева так, что беспрепятственно мог заглянуть в беседку, не опасаясь быть обнаруженным. Эллена сидела одна, в задумчивости опустив на колени лютню и не трогая струн. Казалось, она не замечала ничего из окружавшего, но, судя по нежному выражению лица, мысли ее были заняты каким-то дорогим ее сердцу предметом. Припомнив, как в прошлый раз, когда он украдкой созерцал возлюбленную через окно комнаты, Эллена произнесла его имя, Винченцио воспрянул духом и готовился уже пасть к ее ногам, но тут девушка заговорила, и он остановился:

– О, не безрассудно ли кичиться знатностью! – воскликнула Эллена. – Пустое предубеждение лишает нас душевного покоя. Никогда в жизни не соглашусь я войти в семью, которая не хочет меня принять; по крайней мере, недоброхоты мои убедятся в том, что от предков передалось мне по наследству благородство души. О Вивальди, если бы не столь пагубный для нас обоих предрассудок!

Вивальди, услышав эти слова, застыл в оцепенении, боясь шевельнуться, будто околдованный, но звуки лютни пробудили его; Эллена спела начальную строфу той самой песни, с которой он начал свою серенаду, причем вложила в мелодию ту страстную нежность, которая вдохновила композитора на ее создание.

Закончив первую строфу, она остановилась, а Винченцио, не в силах устоять перед возможностью излить свои чувства, тронул вдруг струны своей лютни и пропел в ответ вторую строфу. Голос его слегка дрожал, что красноречиво свидетельствовало не столько о вокальном мастерстве, сколько о неподдельной искренности певца. Эллена тотчас же все поняла. Она то бледнела, то краснела и еще до конца строфы, казалось, потеряла сознание. Вивальди вошел в беседку, и приближение его привело Эллену в чувство; она сделала ему знак, чтобы он удалился, и, прежде чем он бросился ей на помощь, она встала и покинула бы беседку, если бы он не обратился к ней с мольбой уделить ему всего несколько минут внимания.

– Нет, это невозможно! – воскликнула она.

– Позволь мне только услышать от тебя, что ты не испытываешь ко мне ненависти, – вскричал Вивальди, – и что мое вторжение не искоренило благосклонности, которой, согласно только что высказанному тобой признанию, ты меня удостоила!

– Нет-нет! – порывисто отвечала Эллена. – Забудь о словах, нечаянно у меня вырвавшихся; забудь о том, что ты их слышал; я сама не помню, о чем говорила.

– О прекрасная Эллена! Неужели ты думаешь, что я способен забыть услышанное из твоих уст? Твои слова будут отрадой моего одиночества, надеждой, которая продлит мои дни.

– Я не могу долее оставаться с вами, синьор, – перебила его Эллена, придя в еще большее замешательство. – Я никогда не прощу себе того, что допустила эту беседу, – добавила она, однако же нечаянная улыбка ее уст недвусмысленно опровергала произнесенную фразу.

Вивальди поверил улыбке вопреки словам, но, прежде чем он успел высказать свой восторг, Эллена покинула беседку; он побежал за нею в сад – но она исчезла.

С этого мгновения Винченцио словно родился заново: он чувствовал себя так, будто очутился в раю; улыбка Эллены запечатлелась в его душе навек. Переполненный счастьем, он выкинул из головы все помышления о подстерегавших его бедах и дерзко бросал вызов любым грядущим ударам судьбы. Он вернулся в Неаполь как по воздуху – и даже забыл искать таинственного монаха.

Родителей его не было дома, и Винченцио мог вволю предаться сладостным воспоминаниям, пленившим его воображение. Всю ночь напролет он то расхаживал из угла в угол по своей комнате в волнении, сравнимом только с недавней его лихорадочной тревогой, то принимался писать – и тут же рвать – письма Элене; то ему представлялось, что они слишком длинны или, наоборот, чересчур коротки; то он внезапно вспоминал, о чем еще должен был сказать, или жалел, что слишком холодно выразил страсть, неизъяснимую ни на одном из существующих языков.

К тому времени, когда прислуга была уже на ногах, Винченцио удалось все же сочинить более или менее удовлетворившее его послание, которое он направил на виллу Альтьери с доверенным лицом, однако не успел гонец покинуть дом, как юношу осенили новые, не терпевшие отлагательств важнейшие доводы и сильнейшее желание исправить многие строки, дабы яснее донести вложенный в них смысл, – словом, он отдал бы полмира, лишь бы вернуть курьера.

Он был еще очень взволнован, когда его позвали к отцу: назначенная встреча долго откладывалась из-за занятости маркиза. Вивальди быстро понял, о чем пойдет речь.

– Я желал переговорить с тобой, – начал маркиз высокомерно-суровым тоном, – о предмете, чрезвычайно важном для твоей чести и счастья; мне хотелось также предоставить тебе возможность опровергнуть слух, который причинил бы мне немалое беспокойство, если бы я позволил себе поверить ему. По счастью, я слишком полагаюсь на разумность моего сына, чтобы принимать на веру такого рода новости, и потому решительно заявил в ответ, что мой наследник, в высшей степени осознавая свой долг перед семьей и перед самим собой, не совершит ни малейшего проступка, который мог бы опорочить его достоинство или достоинство его родных. Итак, я призвал тебя только затем, чтобы ты прямо опроверг возведенную на тебя клевету и тем самым дал бы мне право разоблачить ее перед теми, от кого я ее услышал.

Едва дождавшись конца этой вступительной речи, Винченцио порывисто обратился к отцу с просьбой растолковать суть предъявленного ему обвинения.

– Говорят, – продолжал маркиз, – будто некая молодая особа по имени Эллена Розальба (кажется, так ее зовут?)... Тебе она знакома?

– Еще бы! – вскричал Вивальди. – Прошу прощения, милорд, умоляю вас – продолжайте...

Маркиз, помедлив, окинул сына суровым взглядом, в котором, однако, не сквозило ни тени удивления.

– Говорят, будто названная молодая особа с помощью всяческих хитростей завоевала твою привязанность и...

– Совершенно справедливо, милорд, синьора Розальба завоевала мою самую горячую привязанность, – не удержался Вивальди, – только прибегать к хитростям ей для этого не пришлось.

– Я не позволю себя перебивать! – не дал договорить сыну маркиз. – Мне донесли, что названная особа, весьма искусно подладившись под твой нрав, при содействии проживающей вместе с ней родственницы, низвела тебя до унижительного положения ее преданного воздыхателя.

– Синьора Розальба и в самом деле удостоила меня чести считаться ее поклонником! – вскричал Вивальди, не в силах совладать со своими чувствами. Он пытался продолжать, но маркиз довольно грубо прервал его:

– Итак, ты признаешься в собственном безрассудстве?

– Милорд, я горжусь своим выбором!

– Юноша! – воскликнул маркиз. – Ты ослеплен самонадеянностью и мальчишеской восторженностью, и я готов простить тебе твою заносчивость, но простить лишь однажды, запомни это. Признай свои заблуждения и немедленно покончи с этой интрижкой.

– Милорд!

– Ты должен безотлагательно порвать все отношения с этой девицей, – еще более настойчиво проговорил маркиз. – Я же, в доказательство того, что милосердие во мне берет верх над справедливостью, согласен буду тогда назначить девице небольшое вспомоществование в возмещение чести, утраченной ею не без твоего участия!

– Боже правый! – вскричал потрясенный Вивальди, не веря собственным ушам. – Возмещение чести? – Голос его замер. – Кто же осмелился запятнать ее чистейшее имя и оскорбить ваш слух столь бесстыдной ложью? Укажите мне, заклинаю вас, укажите мне имя подлого клеветника, и поскорее, дабы я мог поспешить с воздаянием. Утрата чести! Вспомоществование! О Эллена, Эллена!

Слезы негодования смешались у Винченцио со слезами нежности, едва он произнес имя возлюбленной.

– Юноша! – холодно произнес маркиз, наблюдавший столь бурное проявление чувств со стороны сына с глубоким неудовольствием и тревогой. – Я отнюдь не страдаю легковерием и не допускаю сомнений относительно истинности своих слов. Ты введен в обман – и из пустого тщеславия будешь упорствовать в своем заблуждении, пока я не сочту нужным употребить власть, дабы снять с твоих глаз пелену. Порви с этой особой немедленно, и я приведу такие свидетельства о ее прошлом, перед которыми не устоит даже твоя восторженная преданность.

– Порвать с ней? – переспросил Винченцио с такой спокойной и строгой твердостью, какой отец никогда раньше за ним не знал. – Милорд, доньше вы еще не имели случая сомневаться в моих словах. Честью ручаюсь вам, что Эллена невинна. Невинна! О Небо, отчего мне ниспослано подобное испытание – зачем нужно утверждать ее невинность, зачем возникла необходимость защищать ее?

– Воистину мне остается только сокрушаться об этом, – холодно отозвался маркиз. – Ты дал слово чести – и подвергать его сомнению я не собираюсь. Твое поведение убеждает меня в том, что ты обманут: ты называешь эту особу добродетельной, несмотря на свои ночные к ней визиты. Но предположим, она и в самом деле невинна, несчастный юнец! Как возместишь ты ущерб, нанесенный ее девическому достоинству, чем загладишь последствия своего сумасбродства? Каким образом...

– Тем, что провозглашу Эллenu перед Богом и людьми моей нареченной супругой, – перебил отца Вивальди в безоглядно отважном порыве торжествующего благородства.

– Супругой? – переспросил маркиз с нескрываемым презрением, тут же сменившимся тревогой и негодованием. – Если бы я мог поверить, что ты и вправду настолько чураешься понятия семейной чести, я тотчас же и навсегда перестал бы считать тебя своим сыном.

– О, почему, – вскричал Вивальди, раздираемый борением противоречивых чувств, – о, почему должна грозить мне опасность нарушить сыновний долг только из-за того, что я защищаю права невинного создания, не имеющего в целом свете других заступников, кроме меня! Почему не дарована мне отрада примирить обязанности, столь родственные меж собой? Будь что будет, но я сделаюсь оплотом души гонимой и угнетаемой, на что подвигает меня внутреннее чувство справедливости, ибо первейший долг человеколюбия – готовность помогать униженным. О да, милорд, если уж мне не дано избежать приговора судьбы, то я пожертвую менее важными обязанностями ради величия принципа, который должен вдохновлять все сердца и все поступки. Следуя этому принципу, я наилучшим образом послужу чести нашего дома.

– Учит ли этот принцип, – нетерпеливо перебил маркиз, – не повиноваться отцу; существует ли добродетель, согласно которой похвально унижить собственный род?

– Унижить собственный род можно только греховными деяниями! – с жаром воскликнул Вивальди. – И простите меня, но известны примеры, когда добродетель заключается именно в послушании.

– Эти моральные парадоксы, – ответил маркиз с видом величайшего неудовольствия, – и эти романтические рацеи красноречиво рисуют мне нравственный склад твоих друзей и как нельзя лучше изображают неискренность той самой особы, репутацию которой ты обороняешь с подлинно рыцарским пылом. Отдаете ли вы себе отчет, юный синьор, в том, что не ваше семейство принадлежит вам, а вы – ему, сознаете ли, что ваше призвание в том, чтобы стоять на страже фамильной чести; понимаете ли, что вы отнюдь не вправе распоряжаться собой по собственной прихоти? Довольно, моему терпению положен предел!

Вивальди также явно недоставало смирения хладнокровно снести новый выпад против чести Эллены. Однако, защищая ее невинность, он старался всячески сдерживать себя, как и подобает сыну в присутствии отца; отстаивая независимость своего человеческого достоинства, он не менее заботился о том, чтобы не изменить своему сыновнему долгу. К несчастью, маркиз и Винченцио расходились во мнениях относительно прав обеих сторон; маркиз не принимал ничего, кроме безропотной покорности отцовской воле; Винченцио же полагал, что сыновья должны иметь свободу выбора там, где это ближе всего касается их счастья, а именно в вопросе брака. Отец и сын расстались взаимно раздраженными: Винченцио досадовал на то, что не в состоянии был узнать имя бесстыдного наветчика и обелить оклеветанную девушку; маркиз же гневался из-за отказа Вивальди дать обещание никогда более не искать встреч с Элленой.

И вот в каком положении оказался вдруг юноша: еще совсем недавно вознесенный к блаженству столь безграничному, что оно изгладило из его памяти все горестные воспоминания прошлого и заставило забыть о тревогах грядущего; еще совсем недавно преисполненный ликованием, которое, как казалось, отнимало всякую вероятность нового глотка из чаши бедствий, – он, полагавший, будто мгновение счастья продлится целую вечность и принесет ему полную независимость, вдруг ни с того ни с сего попал в мучительные тиски враждебных, изменчивых обстоятельств.

Вивальди не видел средства разрешить охватившее его душу противоборство страстей; он любил своего отца, и опасение огорчить маркиза угнетало бы его неизмеримо более, если бы тот не отнесся со столь откровенным пренебрежением к Эллене. Эллену Винченцио обожал; даже не помышляя о том, чтобы отступить от своих надежд, он также был возмущен низким поклепом, задевавшим ее имя, и одержим желанием отомстить гнусному клеветнику.

Хотя Винченцио не мог не предвидеть возражений со стороны отца против своего предполагаемого брака с Элленой, гнев маркиза оказался для него более тяжким испытанием,

нежели он предполагал; унижение Эллены, напротив, было столь же нестерпимым, сколь неожиданным. Но данное обстоятельство служило лишь дополнительным поводом для обращения к Эллине; ибо если любовь его могла медлить, то честь побуждала к немедленному действию; поскольку Винченцио стал причиной очернения ее репутации, он полагал теперь своим долгом восстановить доброе имя девушки. Охотно прислушиваясь к велениям долга, представлявшегося ему очевидным, он решил ни на йоту не уклоняться от своего первоначального замысла. Прежде всего юноша почел необходимым установить личность обидчика; не без удивления припомнил он слова маркиза, свидетельствовавшие о его осведомленности относительно ночных визитов на виллу Альтьери, и, как ему казалось, нашел в них объяснение двусмысленных предостережений монаха. Винченцио предположил было, что он и шпион и клеветник в одном лице, однако несовместимость подобного поведения с попыткой предостеречь юношу от бед, свидетельствовавшей, по-видимому, о дружественности намерений, вынудила Вивальди отринуть это предположение.

Между тем в сердце Эллены было не больше покоя, чем в его сердце. Попеременно брали в нем верх то любовь, то гордость; стань ей известно содержание недавнего разговора Винченцио с отцом – всем ее колебаниям тотчас же был бы положен конец; чувство собственного достоинства побудило бы ее немедля и без особого труда искоренить едва зародившуюся привязанность.

Синьора Бьянки уведомила племянницу о причинах визита Вивальди, смягчив, однако, некоторые неблагоприятные для его предложения обстоятельства; поначалу она только наметнула на возможное неодобрение знатным семейством союза, до такой степени неравного. Встревоженная этим предположением, Эллине всецело одобрила решение тетушки ответить юноше, в силу указанного препятствия, отказом; однако от чуткого слуха почтенной синьоры не укрылся вздох, которым Эллине сопроводила свои слова, и тогда синьора Бьянки рискнула добавить, что хотя она и отвергла притязания юноши, но отнюдь не бесповоротно.

В беседах с тетушкой Эллине с радостью убеждалась в том, что та недвусмысленно одобряет ее тайное увлечение: ей хотелось верить, что задевавшее ее гордость неравенство семей в действительности не столь унижительно, как поначалу ей представилось. Синьора Бьянки, со своей стороны, старалась скрыть от племянницы истинные побуждения, склонявшие ее благоволить Вивальди; она ничуть не сомневалась, что таковые не могут иметь ни малейшего значения для Эллены, ибо ее чистая, возвышенная душа восстала бы против вторжения любых меркантильных расчетов в священную область супружества. Поразмыслив основательнее над теми преимуществами, какие сулил племяннице предполагаемый союз, синьора Бьянки склонилась к намерению поощрить действия юноши и соответственно настроить Эллину; однако она нашла племянницу менее податливой, чем ожидала. Эллине ужаснуло само предположение о том, что она способна тайно вступить в семейство Вивальди. Тем не менее синьора Бьянки, побуждаемая возраставшей телесной немощью, твердо уверилась в благоразумности своего плана – добиться обручения влюбленных – и вознамерилась преодолеть нерешительность Эллены, но действовать при этом с большой осторожностью и осмотрительностью. В тот вечер, когда Вивальди нечаянно подслушал сорвавшееся с уст девушки признание, смутение и досада Эллены, ее взволнованный рассказ о случившемся достаточно ясно показали синьоре Бьянки истинное состояние ее сердца. А когда на следующее утро им было доставлено письмо Винченцио, каждое слово которого дышало безыскусной искренностью и силой чувства, тетушка, со свойственной ей ловкостью, не преминула сообразовать свои замечания по этому поводу с характером и склонностями Эллены.

Расставшись с маркизом, Винченцио весь день ломал голову над различными способами, которые помогли бы ему обнаружить лицо, злоупотребившее доверием его отца; вечером же он вновь посетил виллу Альтьери, но не тайно, дабы под покровом ночи пропеть серенаду возлюбленной, а совершенно открыто – чтобы переговорить с синьорой Бьянки; на этот раз она

оказала юноше несравненно более любезный прием, нежели в прошлый его визит. Приписав беспокойство, проявляемое Винченцио, неизвестности, в которой тот пребывал относительно расположения к нему Эллены, синьора Бьянки не выказала ни удивления, ни неудовольствия, но решила утешить его обнадеживающими речами. Вивальди более всего страшился расспросов о том, как была воспринята новость его семейством, однако синьора Бьянки из деликатности обошла эту тему молчанием. После довольно продолжительной беседы юноша покинул виллу с чувством некоторого облегчения и надежды, хотя повидаться с Эллиной ему и не удалось. После того, как Эллена выдала накануне свои чувства к Винченцио, и после того, как услышала намеки об отношении его семьи к ней, – она не решилась на встречу с юношей.

По возвращении в Неаполь Винченцио был призван в апартаменты маркизы, неожиданно оказавшейся свободной от светских обязанностей; происшедшая сцена почти в точности повторила ту, что разыгралась между отцом и сыном; правда, маркиза вела себя более тонко и учинила Винченцио допрос гораздо более изощренный; он, в свою очередь, нимало не отступил от почтительности, предписываемой сыновним долгом. Маркиза, искусно умерив волнение сына притворной снисходительностью к его пылкости, легко ввела его в заблуждение мнимым хладнокровием по отношению к его матримониальным планам, тогда как на самом деле была вне себя от сделанного им выбора; напускное благодушие маркизы объяснялось только тем, что, в отличие от супруга, она больше надеялась отворотить неугодное ей событие.

Винченцио расстался с матерью, не поколебленный ни одним из ее доводов; он не дрогнул перед ее предреканиями и отказался переменить свои намерения. Тревоги он не испытывал потому, что недостаточно хорошо знал характер маркизы. Отчаявшись достичь цели путем прямого принуждения, маркиза обратилась за содействием к помощнику, обладавшему далеко не заурядными способностями, а также нравом и взглядами, позволявшими ему стать орудием в ее руках. Проникнуть в истинную сущность этого человека маркиза сумела вовсе не потому, что ей свойственны были глубина мысли и острота ума, – нет, только благодаря низости собственного сердца она решила использовать его в своих целях.

В доминиканском монастыре Спирито-Санто, в Неаполе, обретался некий отец Скедони – судя по имени, итальянец, однако происхождение его было неизвестно, и очень многое свидетельствовало о том, что сам он желал окутать свое прошлое непроницаемым покровом тайны. Какими бы соображениями он ни руководствовался, но никто никогда не слышал, чтобы отец Скедони упоминал родственников или место своего рождения, – напротив, он необыкновенно искусно уходил от ответа на подобные расспросы любопытствующих собратьев. Некоторые обстоятельства, однако, указывали на его бывшее богатство и принадлежность к знатной семье; сквозь усвоенное им бесстрашие манер прорывалась изредка недюжинная одухотворенность, движимая, однако, не столько возвышенными порывами, сколько мрачной гордыней разочарованной души. Иные из тех, кого занимали особенности его повадки, суровая сдержанность и неодолимая молчаливость, склонность к уединению и частые покаяния, полагали все эти свойства следствием прошлых несчастий, до сих пор гнетущих надменный, но сломленный дух; другие же приписывали отцу Скедони какое-то чудовищное преступление, память о котором неотступно терзает пробудившуюся в нем совесть.

Подчас Скедони несколько дней кряду избегал всякого общества; если же, будучи в таком настроении, он по необходимости должен был присутствовать среди братии, то, погруженный в глубокую задумчивость, казалось, не сознавал, где находится. Порой, хотя за каждым взглядом его следили, он исчезал неведомо куда – и обнаружить его нигде не удавалось, несмотря на самые усердные розыски. Никто никогда не слышал от него ни единой жалобы. Старейшины монастыря признавали за ним дарования, но отказывали ему в учености; они хвалили его за тонкость, которую он проявлял в спорах, однако замечали, что он редко улавливал очевидное; он мог следовать за истиной по всем лабиринтам сложнейших изысков, но пренебрегал ею, когда она представляла перед ним в безыскусной наготе. Истины Скедони, по существу, и не

искал, как не искал ее в открытом и безбоязненном споре; ему нравилось упражнять изощренность своей натуры в погоне за мыслью среди хитросплетения различных уловок. В итоге под воздействием привычных изворотливости и подозрительности порочный ум Скедони не мог рассмотреть истину в простом и понятном.

Скедони не был любим никем из собратьев; многих он отталкивал, большинству же внушал страх. Фигура его поражала – но не соразмерностью: Скедони был высок ростом, но очень худ; руки и ноги его были огромны и неуклюжи; когда он медленно шествовал, закутанный в черное одеяние своего монашеского ордена, весь облик его имел в себе нечто зловещее, нечто почти сверхчеловеческое. Опущенный капюшон, бросая тень на мертвенную бледность лица, подчеркивал суровость застывшего на нем выражения и угрюмую, почти ужасающую безотрадность его взора. Мрачность Скедони была рождена не скорбью чуткого израненного сердца, но жестокостью и беспощадностью его характера. Его физиономия поражала чрезвычайной, трудноопределимой странностью. Она хранила следы многих страстей – словно застывших в чертах, которые эти страсти перестали одушевлять. Мрачность и суровость запечатлелись в глубоких складках его лица. Взгляд, казалось, в одно мгновение проникал в сердца окружающих, читая в них самые сокровенные помыслы; не многие могли выдержать это испытание, и никто не в силах был подвергнуться ему дважды. И все же, несмотря на непреходящую угрюмость и строгость, в нем пробуждалось порой живейшее внимание, преобразившее его внешность; он обладал даром в совершенстве приспособляться к нраву и страстям тех, чье расположение желал снискать, и почти всегда одерживал безоговорочную победу. Именно этот монах, отец Скедони, и был исповедником и тайным советчиком маркизы Вивальди. В первом порыве негодования и уязвленной гордости, вызванном известием о предполагаемой женитьбе сына, маркиза обратилась к Скедони с просьбой указать средства предотвратить ее – и очень скоро обнаружила, что его таланты вполне соответствуют ее желаниям. Каждый из них мог быть чрезвычайно полезен другому: Скедони обладал хитростью, подстегиваемой честолюбием, маркиза – непреклонной гордостью; один надеялся получить в вознаграждение за свои услуги выгодный приход; другая же, располагавшая влиянием при дворе и подстрекаемая неукротимым самолюбием, рассчитывала с помощью даров спасти мнимое достоинство своего рода. Побуждаемые этими страстями, маркиза и Скедони придумали, втайне даже от маркиза, как добиться своей цели.

Вивальди, расставшись с матерью, столкнулся со Скедони в коридоре, ведущем в ее апартаменты. Юноша знал, что Скедони – ее исповедник, и потому эта встреча, даже в столь неурочный час, не вызвала у него удивления. Скедони, склонив голову и напустив на себя набожно-кроткий вид, прошел мимо Винченцио, но тот, поймав брошенный на него мгновенный острый взгляд, невольно отпрянул в сторону с внутренним содроганием, словно охваченный вдруг тягостным предчувствием тех невзгод, какие приуготовил ему этот монах.

Глава 3

– *Что ты такое?*

Ты – некий бог, иль ангел, или демон;

Ты кровь мне студишь, волосы вздымаешь;

Ответь, кто ты.

Шекспир У., Юлий Цезарь

Вивальди со времени последнего визита на виллу Альтьери сделался частым гостем у синьоры Бьянки; вскоре, склонившись на уговоры, к ним стала присоединяться Эллена, но беседа касалась только разнообразных посторонних тем. Синьора Бьянки, чутьем угадывая внутренние колебания племянницы и отдавая должное изысканному уму и манерам Винченцио, пришла к заключению, что юноша вернее завоюет сердце возлюбленной безмолвной преданностью, нежели прямым изъявлением нежных чувств. Подобное признание могло побудить испуганную Эллenu, еще недостаточно привязавшуюся к юноше, бесповоротно отвергнуть ухаживания Винченцио, однако, поскольку он мог беседовать с Эллиной постоянно, ее отказ с каждым днем становился менее вероятным.

Синьора Бьянки уведомила Вивальди, что опасаться ему нечего – соперника у него нет: Эллена неизменно отклоняла знаки внимания со стороны всех воздыхателей, являвшихся до сих пор в тиши ее уединения; почтенная синьора дала также юноше понять, что теперешняя сдержанность ее питомицы вызвана главным образом недоброжелательством родителей Винченцио, но отнюдь не ее нерасположением к нему самому. Винченцио поэтому принял решение воздержаться от дальнейших попыток сватовства, пока не займет прочного места в сердце Эллены, в каковой надежде его всячески поощряла синьора Бьянки, чьи мягкие увещания становились день ото дня все доброжелательней и настойчивей.

Так прошло несколько недель, и наконец Эллена, уступив убеждениям синьоры Бьянки и повинувшись собственному внутреннему голосу, начала смотреть на Винченцио как на своего признанного обожателя; о недобром отношении к ней его семейства, казалось, было забыто; если же об этой вражде и вспоминали, то с упованиями на то, что над ней одержат верх соображения куда более могущественные.

Влюбленные – вместе с синьорой Бьянки и ее дальним родственником, синьором Джотто, – нередко совершали прогулки по восхитительным окрестностям Неаполя; Вивальди теперь не стремился утаить от глаз света свою привязанность, а, напротив, желал опровергнуть любой клеветнический навет на свою избранницу открытой демонстрацией питаемой им сердечной склонности; мысль о том, что недавняя его опрометчивость бросила тень на имя Эллены, пробуждала в Винченцио не только пламенную любовь, но и сокровенную жалость к той, на кого он невольно навлек поношения, а невинные речи и бесхитростная приязнь ни о чем не подозревавшей Эллины, заставляя его совершенно забыть о родовых притязаниях, все более укрепляли его привязанность к ней.

Во время этих прогулок они добирались иногда до Пуццуоли, посещали Байю, приближались к крутым лесистым склонам Позилиппо; на обратном же пути их лодка скользила по освещенным луной водам залива – и мелодичные неаполитанские напевы придавали особое очарование расстилавшейся перед ними панораме берега. Нисходила вечерняя прохлада, и до их слуха доносились то слитые в трио голоса виноградарей, отдохавших после дневных трудов где-нибудь на выступе суши, в отрадной тени тополей; то бойкая музыка, сопровождавшая пляску рыбаков у самой кромки воды внизу. Гребцы сушили весла, пока находившаяся в их лодке компания вслушивалась в голоса, которым подлинное чувство придавало больше выразительности, чем подвластно ухищрениям виртуозов; нельзя было оторвать глаз и от тан-

цевальных движений, исполненных легкой природной грации, какая свойственна неаполитанским простолюдинам. Огибая покрытый густыми зарослями мыс, далеко вдававшийся в море, спутники не могли вдоволь налюбоваться волшебной красоты видами, оживленными веселившимся народом, – картинами, которые не поддаются кисти даже самого талантливого живописца. Бездонно-ясная глубь залива отражала малейшие подробности пейзажа – причудливые утесы с горделиво красовавшимися на них пышными рошами; проглядывавшую сквозь деревья заброшенную виллу над самым обрывом; хижины крестьян, прилепившиеся к опасным склонам; фигуры танцоров на берегу – все это окрашивалось в нежно-серебристые тона тихим сиянием луны. По другую сторону лодки трепетала необозримая полоса искрящегося морского простора, лоно которого бороздили во всех направлениях парусные суда, – и зрелище это было столь же грандиозно, сколь и прекрасно.

Однажды вечером, сидя с Элленой и синьорой Бьянки в той самой беседке, где он ненароком подслушал сорвавшееся с уст девушки краткое, но бесценное для него признание, Вивальди решился с большей, нежели когда-либо раньше, убедительностью заговорить о своем желании приблизить, насколько возможно, свершение брачного обряда. Синьора Бьянки не высказала на это ни единого возражения; уже долгое время ей заметно нездоровилось, и, чувствуя быстрый упадок сил, она жаждала поскорее соединить руки влюбленных. Задумчивым взором созерцала почтенная синьора расстилавшийся перед нею вид. Закатное солнце наполняло море лучезарным блеском; ровную гладь залива плавно пересекали ярко раскрашенные корабли и рыбацкие челноки, возвращавшиеся с лова близ Санта-Лючии в порт, однако ничто не вселяло утешения в душу синьоры Бьянки. Ничто теперь не занимало ее – ни высившаяся на оконечности мола римская башня, тронутая косыми лучами; ни колоритные фигуры рыбаков, развалившихся под укрытием ее стен с дымящимися трубками или стоявших на солнечном берегу в ожидании прибытия новых лодок.

– Увы! – вырвалось у синьоры Бьянки восклицание, нарушившее задумчивое молчание влюбленных. – Как великолепен сегодня закат, как воспламеняет он многоцветьем красок величественные вершины гор... Но увы! Сердце подсказывает, что недолго суждено мне любоваться этой красотой, – недалек уже тот час, когда глаза мои смежатся навеки!

Когда Эллена нежно упрекнула ее за столь мрачные мысли, синьора Бьянки самым красноречивым образом заговорила о живейшем своем желании воочию убедиться в том, что будущее ее питомицы обеспечено; она добавила также, что это должно произойти возможно скорее, в противном же случае она до этого не доживет. Эллена, до крайности пораженная как настроением тетушки, так и прямым упоминанием, в присутствии Вивальди, о ее собственной судьбе, залилась слезами; между тем юноша, ободренный поддержкой синьоры Бьянки, с возросшей горячностью возобновил свои настояния.

– Сейчас не время для чрезмерной шепетильности, – заметила синьора Бьянки, – к нам взывает неоспоримая истина. Дорогая моя девочка, я не буду скрывать от тебя свои предчувствия, они меня не обманывают – жизнь моя вот-вот оборвется... Исполни только единственную мою просьбу, и тогда я с легкостью встречу свой смертный час.

Помолчав, она взяла руку племянницы и продолжала:

– Разлука, вне сомнения, станет большим испытанием для нас обеих; о ней нельзя будет не сожалеть, синьор. – Тут она обратилась к Вивальди: – Эллена мне все равно что родная дочь – и я исполнила, надеюсь, по отношению к ней все обязанности, какие вменяются в долг матери. Судите же о ее состоянии, если я покину этот свет. Вашей первой заботой должно быть стремление утешить ее в скорби.

Вивальди, бросив взгляд на Эллену, порывался что-то сказать, однако синьора Бьянки продолжала:

– На душе у меня было бы так же тяжело, если бы я не верила, что отдаю Эллену вашей неиссякаемой нежности; что мне удалось убедить ее принять покровительство супруга. Вам,

синьор, завещаю я свое дитя. Оберегайте ее будущее, сохраняйте ее покой с той же неусыпностью, что и я, – оградите ее, если сумеете, от несчастья! Многое мне еще хотелось бы высказать, но силы мне изменяют.

Выслушав это напутствие и припомнив, как Эллена жестоко пострадала из-за оскорбления, нанесенного ее доброму имени маркизом, Вивальди, охваченный приливом справедливого гнева, причину которого он и не пытался скрыть, проникся в то же время щемящей нежностью, слезы навернулись ему на глаза – и втайне он дал обет отстаивать честь любимой и оберегать ее спокойствие, чего бы это ему ни стоило.

Синьора Бьянки, окончив наставления, вложила руку Эллены в руку Вивальди, который принял ее с изъявлениями бурного восторга; юноша возвел глаза к небу и со всем пылом, на какой только был способен, торжественно поклялся ни в чем не обмануть возложенного на него доверия, но неустанно блюсти благополучие Эллены столь же преданно и нежно, как ее тетюшка; далее Винченцио объявил, что отныне почитает себя связанным узами не менее священными, нежели те, какие налагает на брачующихся Церковь, и что он берет на себя обязательство защищать Эллену, как должно супругу, до последнего своего дыхания. О твердости намерений юноши неоспоримо свидетельствовал неподдельный жар, с каким он произнес эту клятву.

Взволнованная Эллена, в душе которой боролись различные чувства, все еще плакала и не могла вымолвить ни слова, но тут, отняв от лица платок, взглянула на юношу сквозь слезы с робкой улыбкой – кроткой и любящей, исполненной безграничного к нему доверия; эта улыбка выразила смятение ее чувств и сказала ему гораздо более того, что способен выразить любой язык.

Перед уходом Вивальди в разговоре с синьорой Бьянки условился, что свадебный обряд должен быть совершен через неделю, если только удастся склонить Эллену дать на это согласие; на следующий же день почтенная синьора обещала поставить его в известность о принятом ее племянницей решении.

Окрыленный радостным предвкушением, Вивальди не шел, а летел домой, однако там его настроение омрачила записка от маркиза, который требовал немедленно явиться к нему в кабинет. Предвидя предмет их беседы, Винченцио с большой неохотой направился к отцу.

Маркиза он застал погруженным в глубокую задумчивость, тот даже не сразу заметил приход сына. С трудом оторвав глаза от пола, к которому они были словно прикованы тяжелыми размышлениями, маркиз устремил суровый взгляд на Винченцио.

– Насколько мне известно, – заговорил наконец маркиз, – ты по-прежнему упорствуешь в недостойном увлечении, против которого я тебя остерегал. Я так долго полагался на твое собственное благоразумие, ибо желал предоставить тебе возможность достойным способом взять назад дерзкие речи, кои ты осмелился бросить мне в лицо, касательно твоих убеждений и намерений. Впрочем, несмотря ни на что, за каждым твоим шагом следили с неослабной зоркостью. Согласно доведенным до меня сведениям, твои визиты в обиталище злополучной юной особы, о которой мы говорили в прошлый раз, отнюдь не прекратились и ты по-прежнему ослеплен непоправимой страстью.

– Если ваша светлость имеет в виду синьору Розальба, – отвечал Вивальди, – то ей до злополучия далеко; что до меня, я не побоюсь сознаться в неизменной привязанности к ней. Но почему, о дорогой мой отец, – воскликнул юноша, стараясь подавить в себе раздражение, вызванное уничижительным отзывом об Эллене, – почему вы упрямо чините помехи счастью вашего сына, а главное – почему продолжаете пребывать в несправедливом заблуждении относительно той, кто по праву заслуживает не только моей любви, но и вашего восхищения?

– Я не любовник, – сухо заметил маркиз, – и давным-давно избавился от мальчишеского легковерия; я не уклоняюсь из своевольной прихоти от пристального расследования дела

и руководствуюсь лишь неопровержимыми доказательствами, на которые можно положиться безоговорочно.

– Каковы же эти доказательства, милорд, что они смогли так легко убедить вас? – вознегодовал Вивальди. – Кто столь коварно злоупотребляет вашим доверием и лишает меня покоя?

Маркиз надменно стал порицать сына за питаемые им подозрения и за распросы; последовал долгий разговор, нимало не содействовавший примирению сторон, убежденных в собственной правоте. Маркиз настойчиво повторял обвинения, угрозы; Винченцио всеми силами пытался защитить Элену и доказать отцу постоянство своей любви и неизменность своих намерений.

Не поддаваясь ни на какие уговоры, маркиз наотрез отказался предъявить доказательства, которыми располагал, а также назвать имя доносчика; не более смогли угрозы отца принудить Вивальди отречься от Элены – в итоге отец и сын разошлись, до крайности недовольные друг другом. Маркизу на сей раз не удалось проявить присущую ему дальновидность: угрозы и обвинения только раззадорили и возмутили юношу, тогда как сердечная доброжелательность вкупе с ласковой укоризной наверняка, всколыхнув сыновнюю привязанность, пробудили бы в груди Вивальди борьбу противоречивых чувств. Теперь же никакое столкновение различных понятий о долге не могло поколебать его решимости. У Винченцио не было сомнений в предмете их спора: в отце он видел высокомерного тирана, вознамерившегося отнять у него священнейшее его право, ради собственных целей не погнушавшегося запятнать имя невинной незащитной девушки на основании сомнительных сообщений подлого наветчика; отныне Вивальди, утверждая свою решимость свободно следовать выбору, подсказанному ему голосом природы, не испытывал ни жалости, ни угрызений совести, но с еще большим нетерпением жаждал вступить в супружество, обещавшее ему счастье и полное восстановление репутации Элены.

На следующий день Вивальди отправился на виллу Альтьери с нетерпеливым желанием узнать результат дальнейших переговоров синьоры Бьянки с племянницей и назначенный ими день свершения свадебного обряда. В пути все мысли юноши были без остатка поглощены Эленой, и он шел, не замечая ничего вокруг, пока не оказался в тени хорошо знакомой ему арки, живо напомнившей ему о том, где он находится. До слуха Винченцио донесся голос – голос монаха, вновь преградившего ему дорогу.

– Не приближайся к вилле Альтьери, – услышал он торжественный возглас, – смерть ступила на ее порог!

Прежде чем Вивальди успел опомниться от ужаса, в какой повергли его внезапное появление монаха и сообщенная ему новость, незнакомец уже исчез, растворившись в окружающем сумраке. Казалось, он слился с тьмой, из которой неожиданно возник: ускользнуть через проход под аркой незамеченным он не мог никак. Винченцио звал его, заклинал предстать перед ним вновь, умолял сказать, кто умер, но ответа не было.

Предположив, что незнакомец скрылся из виду единственно возможной дорогой, ведущей к башне наверху, Вивальди начал было взбираться по лестничным ступеням, но тут его осенила мысль, что самый надежный способ разгадать загадку – это покинуть зловещие руины и отправиться без промедления на виллу Альтьери; туда он и направил поспешно свои стопы.

Человек равнодушный, скорее всего, отнес бы слова монаха на счет синьоры Бьянки: пошатнувшееся здоровье делало ее скоропостижную кончину весьма вероятной, однако потрясенному воображению Вивальди являлась только умирающая Элена. Страхи его, независимо от их реальности и правдоподобия, были вполне естественны для пылкого влюбленного, но они сопровождалась предчувствиями столь же необычайными, сколь и страшными: ему снова и снова представлялось, что Элена убита. Он видел ее раненой, истекающей кровью; видел ее покрытое пепельной бледностью лицо и угасающие глаза, стремительно утрачивающие прежний блеск и обращенные с жалостной мольбой к нему, словно он в состоянии был отвести роко-

вой удел, влекущий юную жизнь в могилу. Достигнув садовой ограды, Винченцио принужден был остановиться: сотрясаемый дрожью с головы до ног, он не в силах был сделать и шага навстречу пугавшей его действительности. Наконец, призвав на помощь все свое мужество, он отпер недавно полученным ключом калитку, значительно сокращавшую ему последний отрезок пути, и вскоре оказался у самого дома. Повсюду царило безмолвие – нигде ни единой души; почти все оконные решетки были опущены. Пытаясь по еле заметным признакам определить, что именно здесь произошло, Винченцио с упавшим сердцем вступил под тень портика – и тут худшие опасения его подтвердились. Изнутри донесся слабый сокрушенный стон, сменившийся торжественно-скорбным речитативом, которым в некоторых областях Италии оплакивают усопших. Приглушенный голос слышался издали и казался почти невнятным; не медля более ни секунды, Винченцио кинулся к входной двери и громко постучал.

Через какое-то время появилась престарелая экономка Беатриче и, не дожидаясь вопросов, заговорила:

– О горе, синьор! Горе-то какое! Кто бы мог подумать? Кто бы мог такое ожидать? Еще вчера вечером вы были здесь – и она чувствовала себя не хуже, чем я; кто бы мог вообразить, что сегодня она будет уже мертва?

– Так она умерла? – словно громом пораженный воскликнул Вивальди. – Значит, она умерла!

Пошатнувшись, он с трудом удержался на ногах и вынужден был прислониться к колонне, чтобы не упасть. Беатриче, встревоженная его состоянием, готова была устремиться ему на помощь, но он знаком руки велел ей оставаться на месте.

– Когда она умерла? – через силу выговорил он, кое-как переведя дыхание. – Как и где?

– Увы, синьор, здесь, на вилле! – рыдая, отозвалась Беатриче. – Да разве чаяла я дожить до этого дня? Выходит, зря я надеялась упокоить свои косточки в мире...

– Отчего она умерла? – нетерпеливо перебил Вивальди. – Когда это случилось?

– Ночью, около двух часов, синьор, около двух часов. Вот уж горе так горе! Зачем только я сама не умерла раньше...

– Теперь мне немного лучше, – сказал Вивальди, выпрямляясь, – проведи меня к покойной – я должен ее увидеть. Ты колеблешься? Говорю тебе, я должен ее увидеть – веди!

– Увы... Синьор, это печальное зрелище. Послушайте меня, синьор, не ходите туда – это горестное зрелище.

– Веди меня к ней! – строго повторил Вивальди. – Не захочешь, так я сам найду дорогу.

Беатриче, уstraшенная грозным видом юноши, безропотно повиновалась и только просила его подождать, пока она не сообщит госпоже о его приходе, Винченцио, однако, не отступал от провожатой ни на шаг; они поднялись по лестнице наверх и миновали коридор, ведущий на западную сторону дома. Вскоре они оказались в анфиладе комнат, где из-за опущенных оконных решеток царил полумрак; здесь, в одной из комнат, находилось тело усопшей. Заупокойное пение смолкло, и ни единый шорох не нарушал мертвенного безмолвия опустелого жилища. У самой двери Винченцио пришлось помедлить: от сильного волнения колени его подкосились, и Беатриче, опасаясь, как бы он не рухнул без чувств на пол, хотела поддержать его слабою рукой, но он жестом отстранил ее. Преодолев слабость, Винченцио переступил порог обиталища смерти, торжественно-мрачное убранство которого навело бы на него уныние, если бы глубокое страдание не сделало его почти безучастным к окружающей обстановке. Приблизившись к постели, на которой лежала покойница, Винченцио поднял глаза на склоненную над нею безутешную плакальщицу и узнал в ней Эллену... До крайности изумленная его неожиданным присутствием, еще более – его волнением, она тщетно пыталась добиться ответа на вопрос, что послужило тому причиной. Но у Винченцио не было ни сил, ни желания раскрыть все обстоятельства, которые наверняка больно задели бы ее чувства; ведь получалось так, что событие, повергшее ее в горесть, нечаянно вызвало его радость.

Не желая долее посягать на сокровенность скорбного уединения, Винченцио пробыл с Элленой недолго, стараясь только овладеть собою и успокоить ее.

Когда юноша остался вдвоем с Беатриче, она поведала ему об обстоятельствах смерти Бьянки: накануне вечером синьора отправилась на отдых в обычном своем состоянии.

– И вот, синьор, уже после полуночи, – продолжала рассказ Беатриче, – меня разбудил какой-то шум в спальне госпожи. Хуже нет просыпаться, когда только-только задремлешь, – и тут такая досада меня взяла, да простит мне Пречистая Дева, Святая Богородица! Не стала я подниматься с постели, а прикорнула опять на подушке – сон набрать; чую: снова шум – ну, думаю, не иначе как чужие в доме, уши-то меня не обманывают. Не успела я это проговорить, слышу – молодая госпожа меня зовет: «Беатриче! Беатриче!» Ах, бедняжка, сильно же она перепугалась, да и как тут не перепугаться! Вмиг подлетела к моим дверям, а сама бледная как смерть – и дрожит с головы до пят... «Беатриче, – говорит, – вставай скорее: тетушка умирает». Сказала – и, не дожидаясь ответа, бросилась обратно. Пресвятая Дева Мария, спаси и сохрани меня! Я едва-едва не лишилась чувств.

– Так, а что же твоя госпожа? – Теряя последние остатки терпения, Вивальди прервал утомительные излияния экономки.

– Ах, моя бедная, бедная госпожа! Синьор, поверьте: я боялась, что мне в жизни не добраться до ее комнаты, однако кое-как доплелась, сама едва не при смерти... И вот вижу: моя госпожа лежит на постели совсем недвижно! Лежит – и слова не вымолвит, только смотрит так жалобно: я тотчас поняла, что она кончается. Говорить она не могла, хотя и не раз пыталась, но она была в сознании и то и дело взглядывала на синьору Эллену – и снова пыталась говорить; сердце у меня едва не разорвалось. Видно было, какая-то мысль не давала ей покоя – и очень уж госпоже хотелось ее высказать; она брала синьору Эллену за руку и смотрела ей в лицо с таким жалостным выражением, что никто бы этого не смог вынести, разве только те, у кого сердце каменное. Моя бедная юная госпожа совсем была убита горем, слезы у нее из глаз просто ручьями лились. Несчастливая синьора Эллена! Ведь она лишилась истинного друга – второго такого найти ей и надеяться нечего.

– Нет, она обретет, непременно обретет еще одного – столь же преданного и любящего! – с жаром воскликнул Винченцио.

– Дай-то Бог, синьор, дай-то Бог! – отозвалась Беатриче с сомнением в голосе. – Мы делали все, что могли, для нашей бедной госпожи, – продолжала она, – да только все без толку. Доктор давал ей лекарство, но ей уж неважно было глотать. Слабела она на глазах – и только вздыхала тяжко-претяжко и крепко стискивала мне руку. А потом отвела взгляд от синьоры Эллены – и глаза у нее потускнели и остановились, и словно бы ничего уже вокруг не видят. Ох, горе горькое! Я тут сразу смекнула, что синьора отходит: рука ее сделалась ледяная и выпала из моей – и лицо вдруг за несколько минут изменилось так, что узнать было нельзя. В два ночи ее уже не стало; не успели и священника привести, чтобы отпустил ей грехи.

Беатриче умолкла и заплакала, Вивальди сам едва не дал волю слезам, не сразу нашел он в себе силы осведомиться голосом, нетвердым от волнения, каковы были признаки постигшего синьору Бьянки внезапного недомогания и случались ли с ней подобные приступы ранее.

– Никогда в жизни, синьор, – заверила старая экономка. – Немочи, правда, ее давно уже одолевали, и с годами она здоровья не набиралась, однако...

– Что означают твои намеки? – перебил Вивальди.

– Да как же, синьор: я прямо-таки не знаю, что и думать о кончине моей госпожи. Кому ведомо, где тут правда. Дело мудреное, стоит ли рот раскрывать – меня только на смех поднимут, если я заикнусь о том, что у меня на душе; никто и не поверит, слишком уж чудным это может показаться, и все же никак у меня из головы эти мысли не выходят.

– Говори понятно, – потребовал Вивальди, – с моей стороны упреков тебе незачем опасаться.

– Вас, синьор, я и не опасаюсь; боязно мне, что слухи пойдут по всему городу, не ровен час, люди дознаются, кто их распускает.

– От меня никто ничего не услышит, – не отступался охваченный нетерпением юноша, – отбрось все страхи и расскажи мне о своих догадках.

– Что ж, тогда я откроюсь вам, синьор: не нравится мне, как быстро госпожа ни с того ни с сего приказала долго жить, да и вид у нее после смерти был какой-то не тот.

– Говори яснее, без экивоков!

– О господи, синьор, есть такие люди на свете, которые сроду не хотят понимать, сколько им ни толкуй, – а я вроде бы говорю ясней некуда. Скажу без утайки, начистоту: не верю я, что госпожа умерла своей смертью...

– Что? – вскричал Вивальди. – На чем основаны твои подозрения?

– Но вы ведь, синьор, уже слышали: уж очень мне не по душе внезапность ее смерти и вид ее, когда она скончалась.

– Силы небесные! – прервал Вивальди старуху. – По-твоему, ее отравили?

– Тише, синьор, тише! Я про это ни словом не обмолвилась; я сказала только, что, похоже, она умерла не своей смертью.

– Кто бывал на вилле в последнее время? – дрожащим голосом задал вопрос Вивальди.

– Увы! Ни единой души, синьор. Госпожа жила почти что затворницей и редко с кем виделась.

– Неужели ни единая душа не появлялась? Вспомни хорошенько, Беатриче: не заходил ли к вам кто-нибудь?

– Посетителей, синьор, у нас давным-давно никаких не было, кроме вас да синьора Джотто, кузена госпожи Бьянки. Еще, правда, была, помнится, сестра из монастыря – приходила за шелками, которые вышивала молодая госпожа.

– Вышивала молодая госпожа? Что это за монастырь?

– Монастырь Санта-Мария делла Пьета – его видно отсюда, синьор; соблаговолите подойти к окну, и я вам его покажу. Он расположен вон там, на лесистом склоне холма, за садами, что простираются вниз до самого берега. Рядом с монастырем – оливковая роща, и поглядите-ка, синьор, выше снова лес, а над ним высится желтовато-красный гребень горы; чудится, будто он вот-вот рухнет на старинные шпильи. Разглядели, синьор?

– Когда эта инокиня была здесь в последний раз?

– Тому уже недели три, не меньше.

– И с тех пор никто из посторонних больше сюда не заявлялся? Ты уверена?

– Конечно, синьор! Разве только еще рыбак, да зеленщик, да продавец макарон и прочей снеди: до Неаполя путь неблизкий, синьор, а у меня так мало времени.

– Три недели – так? Ты сказала – три недели; я не ослышался? Ты уверена, что три недели никого из посторонних в вашем доме не было?

– Что вы, синьор? Три недели, святая Мария! Неужто нам под силу целых три недели поститься? Торговцы чуть ли не каждый день к нам заглядывают.

– Я говорю о монахини! – вскричал Вивальди.

– О монахини? Тогда да, синьор, верно: она была у нас три недели назад, никак не позже.

– Странно! – задумчиво проговорил Вивальди. – Мы еще об этом потолкуем. Между тем ты должна помочь мне попасть в покои твоей госпожи, я желал бы взглянуть на ее лицо, но без ведома синьоры Эллены. И послушай, Беатриче: храни в тайне свои догадки по поводу обстоятельств кончины синьоры Бьянки, остерегайся по нечаянности выдать эти подозрения юной госпоже. А у нее нет сходных предположений? Она при тебе их не высказывала?

Беатриче отвечала, что, насколько ей известно, синьора Эллена ни о чем таком и не помышляет; далее она клятвенно обещала выполнять его указания.

Винченцио покинул виллу, напряженно раздумывая над обстоятельствами, о которых только что узнал, и над пророческим предсказанием монаха; он невольно предположил, что это предсказание и причина смерти Бьянки между собой связаны; только теперь Вивальди впервые пришла в голову мысль, что этот монах, этот таинственный незнакомец, – не кто иной, как отец Скедони, в последнее время зачавший в покои маркизы. Следствия, вытекавшие из этого подозрения, заставили юношу содрогнуться, и он поспешно отверг их как ужасную отраву, способную на веки вечные лишить его душевного спокойствия. Однако подозрение оказалось слишком сильным, чтобы разом от него избавиться, – и Винченцио попытался воскресить в памяти фигуру и голос незнакомца, желая сопоставить его облик с обликом Скедони. Голоса, казалось ему, сходились мало; заметно различались оба и ростом и статью. Сравнение, однако, не мешало Вивальди заподозрить монаха в том, что он послушное орудие в руках исповедника – или же приставленный к нему самому тайный соглядатай и доносчик, оклеветавший Эллену; и тот и другой – если только их на самом деле двое – беспрекословно повинуются воле его родителей. Воспламененный негодованием по поводу недостойных уловок, направленных против него, и обуреваемый желанием сквитаться с обидчиком Эллены, юноша твердо вознамерился во что бы то ни стало докопаться до истины: либо вынудить исповедника сознаться во всем, либо отыскать его приспешника, который, как он полагал, обретался среди развалин крепости Палуцци.

Винченцио не мог сбросить со счетов и обитательниц женского монастыря, указанного ему Беатриче, однако для вражды к Эллене с их стороны не усматривал ни малейшего основания – напротив того, выяснилось, что она связана с ними уже не первый год дружественными узами: вышитые шелка, о которых упомянула экономка, давали исчерпывающее истолкование их сношениям; и теперь, получив более полное представление об источниках доходов Эллены, растроганный юноша проникся к ней еще большей нежностью и восхищением.

Подозрения, высказанные старой Беатриче, неотвязно преследовали юношу, однако загадка оставалась загадкой: казалось в высшей степени невероятным, чтобы кто-то мог быть заинтересован в гибели женщины, явно ни в чем не повинной, и не погнушался даже прибегнуть к помощи яда. Еще более необъяснимыми представлялись мотивы, способные толкнуть преступника на столь чудовищное злодеяние. Состояние здоровья синьоры Бьянки действительно ухудшалось день ото дня, однако внезапность ее кончины и странность многих предшествовавших ей обстоятельств заставляли Вивальди серьезно сомневаться в причинах смерти. Он полагал, однако, что осмотр покойной должен развеять все сомнения; Беатриче обещала – в том случае, если он сможет прийти вечером, когда Эллена удалится к себе в спальню, – провести его в комнату усопшей. Юноше претила сама мысль о том, что ему придется тайком прокрадываться под покровом ночи в обитель Эллены, да еще в столь неурочный час; тем не менее необходимо было привлечь к делу какого-нибудь знатока медицины, на авторитет которого можно было бы положиться, дабы безошибочно судить о причинах неожиданной трагической развязки. Твердо надеясь в самом скором времени получить право защищать честь и репутацию Эллены, Вивальди поэтому менее колебался в своей решимости довести расследование до конца любой ценой; в другой ситуации соображения такта, вероятнее всего, взяли бы в его душе верх. Теперь же он слишком проникся важностью затеянного предприятия, чтобы легко от него отказаться; поэтому он сказал Беатриче, что явится точно в назначенное время. Таким образом, намерение выследить таинственного монаха пришлось пока отложить.

Глава 4

*Открой непроницаемую тайну,
Что в вечный спор с душой тебя ввергает.
Уолпол Х., Таинственная мать*

По возвращении в город Вивальди пожелал увидеться с матерью, которую намеревался подробнее расспросить относительно Скедони: добиться определенности он не ожидал, однако надеялся все же напасть хотя бы на след истины.

Маркиза находилась у себя в будуаре; там, вместе с ней, оказался и ее духовник. «Этот человек преграждает мне путь точно злой гений, – сказал себе Винченцио, – но я не уйду отсюда, пока не выясню толком, оправданны ли мои подозрения на его счет».

Скедони был настолько поглощен беседой, что не сразу заметил появление Вивальди; юноша же с порога впился в монаха взглядом, пытаясь уловить в его глубоких морщинах подозрительные приметы. Монах говорил что-то маркизе, опустив глаза долу; в неизменной его суровости сквозило некое коварство. Маркиза, подавшись вперед, слушала Скедони с глубоким вниманием, словно не желала упустить ни слова из тихо лившейся речи; весь ее облик выражал тревогу и внутреннее смятение. Очевидно, это было совещание, а никак не исповедь.

Вивальди подошел ближе – и монах поднял голову; глаза их встретились, однако в лице Скедони не дрогнул ни единый мускул. Скедони встал, но не попрощался и в ответ на высокомерное приветствие юноши наклонил голову сдержанно, хотя и без малейшего раздражения, выказывая твердость, близкую к презрению.

При виде сына маркиза обнаружила некоторое замешательство и, не сумев побороть досаду, с неудовольствием нахмурилась, однако тут же постаралась скрыть невольное проявление неприязни улыбкой, которая внушила Вивальди еще более тягостное чувство.

Скедони вновь спокойно уселся и едва ли не со светской непринужденностью принялся рассуждать на различные темы общего свойства. Вивальди, однако, был сдержан и молчалив: он не знал, как повернуть разговор, чтобы добиться нужных ему сведений, и маркиза не помышляла вывести его из затруднения. Пристальное наблюдение за Скедони позволило юноше, однако, если и не добиться истины, то, по крайней мере, строить какие-то догадки. Вслушиваясь в низкий голос исповедника, Винченцио почти уверился в том, что этот голос никак не мог принадлежать его неведомому советчику; в то же время ему подумалось, что изменить или подделать голос особого труда не составляет. Разница в телосложении давала больше оснований для решения вопроса: ростом незнакомец уступал Скедони – и, хотя в повадках обоих Вивальди подметил теперь некоторое сходство, он объяснил его тем, что оба носили облачение одного ордена. О сходстве внешности судить было непросто: низко натянутый капюшон не позволил Вивальди явственно различить черты знакомого. Скедони откинул свой капюшон назад – он совсем иначе держал голову, чем ночной встречный; Вивальди припомнилось, что у дверей будуара матери он увидел исповедника со спущенным капюшоном – на лице его лежала та же мрачная суровость, что и у неизвестного монаха, чей страшный образ вновь возник у него в памяти. Впрочем, и на это сходство не следовало особенно полагаться: слишком многое зависело тут от густой тени, отбрасываемой капюшоном и придающей любому лицу зловещее выражение. Все же Вивальди, несмотря ни на что, одолевали мучительные сомнения. Одно только обстоятельство отчасти проясняло суть дела. Таинственный незнакомец явился перед юношей в монашеском облачении, которое, насколько Вивальди мог доверять мимолетному наблюдению, свидетельствовало о его принадлежности к тому же ордену, к какому принадлежал Скедони. Однако маловероятным казалось, чтобы Скедони или даже его пособник носили бы платье, столь явно изобличавшее их действительное положение. По всем

признакам ночной незнакомец усиленно стремился сохранить инкогнито: следственно, монашеский наряд был только уловкой, предназначенной ввести в заблуждение. Вивальди между тем решил обратиться к Скедони с вопросами и тщательно проследить, какое действие они на него возымеют. Воспользовавшись удобным моментом, юноша обратил внимание присутствующих на украшавшие будуар маркизы изображения древних руин; Винченцио заметил, что крепость Палуцци достойна быть присоединенной к этому собранию.

– Вы, быть может, недавно бывали там, преподобный отец, – добавил Вивальди, устремив на монаха испытующий взор.

– Это удивительный памятник старины, – ответил Скедони.

– Там есть арка, – продолжал Вивальди, не сводя глаз с исповедника, – она перекинута меж двумя скалами; на верхушке одной из них – крепостные башни, другая поросла соснами и дубами; арка эта на редкость живописна. Но на рисунке ей нужны человеческие фигуры... Какие-нибудь гротескные тени бандитов, притаившихся за углом в ожидании беспечного путника, или закутанный в черное монах, крадущийся из бросаемой аркой тени как некий сверхъестественный посланец зла, придали бы картине законченность.

Во время этой тирады выражение лица Скедони нимало не переменилось.

– Нарисованный вами пейзаж вполне завершен, – ответил Скедони, – и можно только восхищаться искусством, с каким вы свели монахов в одну компанию с бандитами.

– Простите, преподобный отец, – отозвался Вивальди, – я их отнюдь не сравнивал.

– Обижаться не на что, синьор, – ответил Скедони с недоброй усмешкой.

Во время этой беседы, если в данном случае уместно такое определение, прислужница вручила маркизе письмо, и та вышла вслед за ней из комнаты; исповедник остался на месте, очевидно, дожидаясь возвращения маркизы, и Вивальди твердо вознамерился не отступаться от начатого допроса.

– Выходит, однако, что крепость Палуцци, – настаивал он, – если и не облюбована грабителями, то, во всяком случае, часто посещается духовными особами: едва ли не каждый раз, когда я прохожу мимо, мне навстречу попадает монах, причем является он так неожиданно и исчезает столь мгновенно, что мне трудно не счесть его прямо-таки бесплотным существом.

– Монастырь кающихся, облаченных в черное, расположен поблизости, – заметил исповедник.

– И одеяние членов этого ордена напоминает ваше? Виденный мною монах очень немногим отличался от вас, преподобный отец: его облачение сходствовало с вашим, он был примерно вашего роста и сложения и очень напоминал вас.

– Вполне возможно, синьор, – хладнокровно отвечал Скедони, – сколько угодно монахов сходствуют внешностью, однако братья ордена черных кающихся облачены во власяницу; к тому же изображенный на ризе череп – символ их ордена – вряд ли ускользнул бы от вашего внимания; следовательно, тот, кого вы видели, не мог быть членом братства, о котором идет речь.

– Я не склонен утверждать это категорически, – возразил Вивальди. – Но кем бы ни был этот черноризец, я надеюсь вскоре свести с ним более близкое знакомство и выложить ему истины столь беспощадные, что не допущу с его стороны даже слабой попытки прикинуться непонимающим.

– Коль скоро у вас есть прямой повод для нареканий, именно так и следует поступить, – согласился исповедник.

– Только если у меня есть прямой повод? Неужели в ином случае беспощадные истины высказывать нельзя? Неужели можно быть откровенным только тогда, когда нас задевают непосредственно? – Винченцио показалось, что ему удалось уличить Скедони, ибо тот нечаянно дал понять, что ему известно, почему у юноши есть право предъявить незнакомцу претензии. – Заметьте, преподобный отец: я ведь ни словом не обмолвился о нанесенном мне оскорблении.

Если вам об этом известно, то, несомненно, из каких-то других источников; я же ничем не выразил своего негодования.

– Разве что грозным голосом и гневным взором, синьор, – сухо отозвался Скедони. – Видя, как человек кипит от ярости, мы обычно склонны заключить, что он испытывает возмущение, вызванное обидой, действительной или воображаемой. Поскольку я не имею чести знать, о чем вы говорите, то не в состоянии и определить, которая из двух причин вызывает ваше недовольство.

– Относительно природы причиненной мне обиды я никогда не испытывал ни малейших сомнений, – высокомерно заявил Вивальди. – А если бы и испытывал, то – вы уж простите меня, святой отец, – не обратился бы к вам с просьбой их разрешить. Нанесенное мне оскорбление, увы, слишком ощутимо; к тому же для меня более чем очевидно, от кого оно исходит. Тайный наушник, вкравшийся в семейное святилище, дабы осквернить ядом его покой, доносчик, гнусный оскорбитель, посягнувший на чистоту невинности, – все это одно-единственное лицо, мною теперь разоблаченное.

Вивальди произнес эти слова со сдержанной силой, полной достоинства и резкости, поразившей Скедони, казалось, в самое сердце. Уязвленная гордость или совесть были тому причиной – сказать с уверенностью было трудно. Вивальди приписал волнение монаха тревогам больной совести. Черты Скедони исказила мрачная злоба, и Вивальди почудилось, что перед ним человек, которого страсти способны подвигнуть едва ли не на любое преступление, даже самое чудовищное. Он отшатнулся от монаха, словно вдруг увидел на пути змею, – и, забывшись, глядел на него так пристально, что даже не сознавал, насколько поглощен увиденным.

Скедони почти сразу же опомнился; зловещая мрачность исчезла; выражение лица его смягчилось; сохраняя, однако же, надменный вид, он строго спросил:

– Синьор, хотя причины вашего недовольства мне по-прежнему совершенно неведомы, я все же не могу не понять, что ваша враждебность в какой-то мере направлена против меня; именно во мне вы усматриваете источник ваших неприятностей. И все же я не позволяю себе ни на миг допустить, вы слышите, синьор, – Скедони многозначительно возвысил голос, – что вы осмелитесь приложить ко мне позорящие честь и звание клички, вами перечисленные, но...

– Я прилагаю их к моему обидчику, – перебил монаха Вивальди. – Вам, святой отец, лучше знать, применимы ли они к вам самому.

– Тогда у меня нет ни малейших нареканий, – искусно вывернулся Скедони, заговорив неожиданно миролюбивым тоном, изумившим Винченцио. – Если речь идет о вашем обидчике, кто бы он ни был, я со своей стороны вполне удовлетворен.

Веселая самоуверенность, с какой Скедони произнес эти слова, вновь разбудила в юноше сомнения: он считал почти невозможным, чтобы человек, чувствующий себя виноватым и выслушавший брошенное ему в лицо обвинение, мог держаться с таким спокойным достоинством, какое выказывал теперь монах. Вивальди принялся мысленно упрекать себя за свою безудержную опрометчивость – и мало-помалу проникся смятением при мысли о неприличии своих поступков по отношению к особе духовного звания, к тому же гораздо его старше. Зловещие перемены в облике Скедони, так его встревожившие, юноша был склонен теперь объяснить чувством собственного достоинства; сожалея об обиде, нанесенной им монаху, он почти забыл о злобе, примешанной к ревливой гордости Скедони. Сменив гнев на жалость и всецело доверяя сиюминутному порыву, он так же стремился искупить свою ошибку, как прежде – ее совершить. Винченцио так открыто и чистосердечно, рассыпаясь в извинениях, сокрушался о дерзости, с которой пренебрег правилами приличия, что легко снискал бы прощение у доброжелательного собеседника. Исповедник внимал Винченцио с видимым благодушием, втайне испытывая к нему презрение: он видел в нем безрассудного юнца, движимого лишь побуждениями страсти; сердясь на дурные стороны его природы, он не уважал и не ценил ни доброту,

ни искренность, ни широту души и любовь к справедливости, которые оправдывали даже его слабости. По сути дела, Скедони видел в человеческой природе одно только зло.

Будь Вивальди менее великодушен, он с недоверием отнесся бы к притворному спокойствию Скедони и тотчас распознал бы презрение и злобу, таившиеся за деланой улыбкой монаха. Исповедник понял, что имеет над юношей власть: характер Вивальди лежал теперь перед ним будто на ладони. Он видел подробно – или так ему представлялось – все тонкости внутреннего склада юноши, мог вникнуть в соотношение достоинств и недостатков, собственных его природе. Скедони не сомневался также и в том, что сумеет обратить даже добродетели юноши против него самого, и уже предвкушал, сохраняя на губах фальшивую улыбку, ту минуту, когда отомстит ему за недавнее оскорбление, о котором юноша искренне сожалел и о котором монах будто бы забыл.

Итак, Скедони замыслил против Вивальди недоброе, а тот искал способа загладить нанесенную духовнику обиду; тем временем маркиза, вернувшись в комнату, заметила на бесхитром лице сына следы недавнего волнения – щеки юноши пылали, брови слегка хмурились. Лицо Скедони выражало только умиротворенность, хотя во взгляде, порой бросаемом им из-под полуопущенных век, скрывались предательство и хитрость, прикрывавшие ожесточенную гордыню.

Маркиза с явным неудовольствием осведомилась у сына о причине его волнения, однако Вивальди, остро сознавая свою вину, не в состоянии был ни принудить себя к объяснениям, ни оставаться в обществе матери; поэтому со словами, что доверяет свою честь благорассудительности монаха, Вивальди стремительно покинул комнату.

По уходе юноши Скедони с видимой неохотой удовлетворил любопытство маркизы, тщательно избегая благоприятного отзыва о поведении Вивальди, – напротив, в рассказе своем он всячески преувеличил его непочтительность – и ни словом не обмолвился о последовавшем за дерзким выпадом искреннем раскаянии. В то же время, однако, Скедони с изощренным искусством делал вид, будто любым способом пытается выгородить оступившегося юношу, найти оправдания его безрассудству; монах сетовал на пылкость его нрава и умолял раздраженную мать простить сына.

– Ваш сын еще очень молод, – добавил Скедони, заметив, что вызвал у маркизы крайнюю степень недовольства сыном. – У молодых кипучий темперамент, толкающий их к поспешным суждениям. Кроме того, юноша, безусловно, слишком ревниво относится к дружбе, коей вы меня одаряете; вполне естественно, что юноша нетерпим к знакам внимания, которые такая мать уделяет другим.

– Вы чересчур добры, святой отец, – отвечала маркиза. Гнев ее только возрастал по мере того, как Скедони усердствовал в показном чистосердечии и напускнутой кротости.

– Я действительно как нельзя лучше отдаю себе отчет, – продолжал Скедони, – в сколь трудное положение ставит меня привязанность к вашему семейству, – нет, я бы сказал, долг по отношению к нему; но я охотно терплю неизбежные трудности, если только мои советы могут служить средством сохранить вашу фамильную честь незапятнанной и уберечь неосмотрительного юношу от будущих несчастий и бесполезного раскаяния.

Согласные во враждебности к Вивальди, маркиза и Скедони совершенно искренне забыли о недостойных мотивах, которыми руководствовались; забыли они и о взаимной неприязни, которую сообщники в грязном деле обычно бывают не в силах преодолеть. Маркиза, восхваляя преданность Скедони, начисто исключила из мыслей свои обещания выделить ожидаемый им богатый приход; исповедник же приписывал беспокойство маркизы заботе о подлинном благоденствии отпрыска, а не тревоге за собственную репутацию. Обменявшись взаимными комплиментами, оба приступили к долгому совещанию касательно Вивальди: было условлено, что попытки обеспечить юноше то, что они называли его сохранностью, не должны более ограничиваться одними только увещеваниями.

Глава 5

*Что, если это яд, который ловко
Монах употребил?*

Шекспир У., Ромео и Джульетта

Вивальди, справившись с первыми чувствами жалости и раскаяния в том, что он оскорбил немолодого уже человека и к тому же особу духовного звания, более взвешенно перебрал в памяти подробности поведения Скедони – и его вновь начали одолевать подозрения. Однако, полагая их следствием собственной слабости, ни на чем не основанной, Вивальди вознамерился решительно отвергать любые неблагоприятные для Скедони догадки.

С наступлением вечера Вивальди поторопился к вилле Альтьери и, встретившись за городом, согласно договоренности, с медиком, которому вполне доверял и на знания которого всецело полагался, поспешил вместе с ним к предуказанной цели. При последней встрече с Элленой он забыл вернуть ей ключ от калитки – и потому проник в сад обычным ходом, хотя и не мог побороть неприятного чувства, охватившего его при тайном ночном посещении обители Эллены. Разумеется, медик, чье мнение было столь необходимо для восстановления душевного спокойствия Вивальди, ни при каких других обстоятельствах не мог бы войти в дом Эллены, не возбуждая подозрений, которые стали бы мучить ее до конца жизни.

Беатриче, ожидавшая посетителей в портике, провела их в покой, где лежало тело усопшей; Вивальди, разволновавшись при входе, все-таки обрел самообладание, достаточное для того, чтобы встать рядом с ложем, тогда как медик занял место по другую его сторону. Не желая обнаруживать свои чувства перед экономкой и стремясь переговорить с медиком наедине, Вивальди взял у Беатриче лампу и велел ей выйти. Когда свет упал на бледное лицо покойницы, Вивальди с печальным изумлением взглянул на нее; разуму требовались усилия для того, чтобы убедить себя в том, что еще накануне вечером лицо это дышало жизнью не меньше, чем у него самого; эти глаза, устремленные на него, наполнялись слезами, вызванными тревогой за судьбу племянницы, которую синьора Бьянки вверяла его попечениям в предчувствии близкой кончины – увы, слишком скоро сбывшемся. Подробности последней встречи с тетушкой Эллены живо воскресли в памяти Вивальди, всколыхнув всю его душу. Юноша вновь с особой силой почувствовал важность возложенной на него задачи и, склонившись над немым и холодным телом синьоры Бьянки, мысленно повторил принесенное им Эллине клятвенное обещание оправдать доверие ее покойной родственницы.

Вивальди никак не мог собраться с духом, чтобы спросить у медика, к какому заключению он склоняется; медик же, неодобрительно сдвинув брови, сосредоточенно вглядывался в покойницу, вид которой все более укреплял в юноше прежние подозрения; проступившая на мертвом лице чернота казалась Вивальди подтверждением того, что синьора Бьянки была отравлена. Вивальди боялся прервать затянувшуюся паузу, дабы не положить конец слабо теплившейся надежде на ошибочность этих предположений; молчал и медик, опасавшийся, по видимому, последствий откровенного разговора.

– Я угадываю ваше мнение, – проговорил наконец Вивальди, – мы с вами думаем одинаково.

– Я в этом не уверен, синьор, – отвечал медик, – хотя и догадываюсь о вашем мнении на этот счет. Внешние признаки неблагоприятны, однако я не возьму на себя смелость утверждать на основании увиденного, что в данном случае все было так, как вы предполагаете. Подобные симптомы возникают и при других обстоятельствах.

Свое суждение медик подкрепил доводами, звучавшими убедительно даже для Вивальди, и в заключение обратился к юноше с просьбой предоставить ему возможность расспросить экономку:

– Желательно уяснить точнее, каким было состояние покойницы за несколько часов до смерти.

После беседы с Беатриче медик, независимо от вывода, какой мог сделать в результате продолжительных расспросов, продолжал стоять на своем: на его взгляд, наличествовало слишком много противоречивых данных, не позволявших окончательно решить, умерла синьора от яда или же причина ее смерти была иной. Еще более обстоятельно, чем прежде, он повторил все резоны, согласно которым ни один медик не взялся бы вынести на этот счет не подлежащий сомнению вердикт. То ли медик страшился взять на себя ответственность за решение, равносильное обвинению какого-либо лица в умышленном убийстве, то ли и в самом деле склонен был полагать, что смерть синьоры Бьянки последовала от естественных причин, сказать было трудно; но, так или иначе, было очевидно, что он склоняется ко второй версии и очень хочет успокоить подозрения Вивальди. Медику и впрямь удалось убедить юношу в бесплодности дальнейшего расследования и почти уверить его в том, что кончина синьоры соответствовала природному ходу вещей.

Помедлив еще некоторое время у смертного одра Бьянки и простившись с ней навсегда, Вивальди покинул виллу столь же бесшумно, как и вошел туда, не замеченный, как ему казалось, ни Элленой, ни кем-либо еще. Когда он миновал сад, над морем уже занималась утренняя заря – и единственными, кого он мог видеть и в этот ранний час, были рыбаки, которые слонялись по берегу или отчаливали на свой промысел. Возобновлять задуманные разыскания в крепости Палуцци было уже поздно, и восходящее солнце вынудило юношу направиться домой. Возвращаясь в город, он чувствовал себя немного успокоенным надеждой на то, что синьора Бьянки не пала жертвой преступного умысла; еще более утешало его очевидное благополучие Эллены. Когда Винченцио проходил мимо крепости, никто не задержал его; расставшись с медиком, он вернулся под отчий кров, куда его впустил доверенный слуга.

Глава 6

Их было

Шесть или семь; от темноты самой

Они таили лица.

Шекспир У., Юлий Цезарь

После внезапной кончины тетушки – единственной ее родственницы и друга всей жизни – Эллена почувствовала себя так, будто осталась одна в целом свете. Однако горесть одиночества стала ощущаться ею не сразу: поначалу боль утраты, жалость, необоримая скорбь вытеснили из ее сердца все прочие помышления.

Прах синьоры Бьянки должен был упокоиться в церкви, принадлежавшей монастырю Санта-Мария делла Пьета. Тело, облаченное в смертный покров в соответствии с обычаем и украшенное цветами, перенесли к месту погребения в открытом катафалке, в сопровождении одних только священников и факельщиков. Но Эллена не могла проститься так легко с останками любимого друга, и – поскольку традиция воспрещала ей сопроводить гроб до могилы – она направилась прежде в монастырь, дабы присутствовать там на заупокойной службе. Скорбь не позволила ей присоединиться к хору монахинь, зато торжественная величавость песнопения умиротворила ее душу, а пролитые слезы помогли утишить тяжкое горе.

По окончании службы Эллена проследовала в приемные покои аббатисы, та, наряду с выражением глубокого соболезнования, настоятельно уговаривала Эллену укрыться пока в монастыре, в чем опечаленную девушку легко было убедить. Эллена сама желала удалиться под монастырский кров как в некое святилище, наиболее отвечающее не только сложившимся обстоятельствам, но и душевному ее состоянию. Здесь, в обители веры, думалось ей, она скорее всего обретет спокойствие и покорность судьбе, и при расставании с аббатисой было условлено, что Эллену примут в монастырь в качестве пансионерки. Теперь ей следовало вернуться на виллу Альтьери – главным образом для того, чтобы поставить Вивальди в известность о своем решении. Уважение и привязанность к нему постепенно росли в душе Эллены и теперь стали так велики, что от них зависело ее будущее, счастливое или несчастливое. Благословение тетушки – и в особенности торжественность, с какой та накануне кончины препоручила племянницу заботам Винченцио, – привязали к нему Эллену еще теснее и освятили их помолвку; она стала полагать Вивальди своим покровителем и единственным защитником. Чем сильнее оплакивала она почившую тетушку, тем с большей нежностью думала о Вивальди; любовь к нему так тесно переплелась с привязанностью к ней, что оба чувства становились крепче и возвышенней.

По завершении погребальной церемонии влюбленные встретились на вилле Альтьери.

Винченцио не выказал ни удивления, ни неудовольствия, узнав о желании Эллены удалиться на время траура в стены монастыря: такой поступок в высшей степени даже приличествовал девушке, оказавшейся в пустом доме без опекунов. Юноша поставил только одно условие – что он получит разрешение видаться с нею в монастырской приемной и, когда позволят правила приличия, попросит ее руки, дарованной ему синьорой Бьянки.

Хотя Вивальди покорился намеченному плану без единого слова жалобы, он все же был огорчен; однако, когда Эллена убедила его похвалой достоинствам аббатисы монастыря Санта-Мария делла Пьета, он постарался заглушить тайный ропот сердца верой в обоснованность принятого решения.

Между тем воображение Вивальди неотступно тревожил неведомый ему мучитель – таинственный монах, особенно поразивший юношу тем, что предрек смерть синьоры Бьянки; и Вивальди вознамерился еще раз попытаться установить истинную природу своего пресле-

дователя, а главное – выяснить, какие мотивы могли подвигнуть незнакомца заступать ему дорогу, возмущая душевный покой. Обстоятельства, сопровождавшие встречи с монахом (если только он был монахом), его внезапные появления и исчезновения, правдивость его пророчеств и особенно мрачное событие, подтвердившее его последнее предостережение, – все это повергало Вивальди в трепет; фантазия Вивальди, воспламененная недоумением и болезненным любопытством, готова была принять истолкование, выходящее за пределы человеческого опыта и намекавшее на силы, далеко превышавшие способности смертного. Винченцио обладал разумом достаточно ясным и прочным, чтобы замечать и отвергать многие господствовавшие заблуждения, а также презирать распространенные предрассудки, и в обычном расположении духа он, вероятно, даже не потрудился бы задуматься над этой загадкой, однако теперь чувства его были возбуждены, воображение разыгралось; пожалуй, обманись он в своих ожиданиях (хотя сам Вивальди этого и не сознавал), ему было бы досадно покинуть области грозного величия – мир устрашающих теней, куда он воспарил, – и очутиться вдруг на твердой земле, которую попирали всякий день и где терзавшая его тайна получила бы самое простое и вполне естественное объяснение.

Вивальди замыслил вновь посетить крепость Палуцци в полночь и, не дожидаясь появления монаха, обыскать с факелами все укромные уголки и установить, по крайней мере, бывают ли там какие-либо другие человеческие существа, кроме него самого. Главное препятствие, мешавшее ему до сих пор осуществить свое намерение, заключалось в том, что трудно было подыскать спутника, которому он мог бы всецело довериться, а пускаться в столь рискованное предприятие в одиночку, как он убедился, было нельзя. Синьор Бонармо упорно отвечал отказами на просьбы Винченцио – и, быть может, поступал разумно; поскольку же у него не было других знакомых, кому бы он мог объяснить обстоятельства достаточно, чтобы добиться содействия, ему в конце концов пришлось остановить выбор на своем собственном слуге Пауло.

Вечером, в канун того дня, когда Эллена должна была переселиться в монастырь Санта-Мария делла Пьета, Вивальди отправился на виллу Альтьери с ней попрощаться. Во время разговора юноша был подавлен более обычного; хотя он знал, что пребывание Эллены под монастырским кровом не будет слишком продолжительным, и верил в преданное постоянство Эллены, насколько это возможно для влюбленного, все же его не покидало предчувствие, будто расстаются они навсегда. Юношу осаждали тысячи смутных и тревожных предположений, ранее даже не приходивших ему в голову: так, ему казалось вполне вероятным, что монахини искусными ухищрениями побудят Эллену затвориться от мира и принять постриг. В ее теперешнем душевном состоянии такой поворот событий представлялся более чем правдоподобным – и, несмотря на все уверения Эллены (а перед разлукой она позволила себе отступить от присущей ей сдержанности), Вивальди никак не мог до конца избавиться от одолевавших его сомнений.

– Если судить по моим опасениям, Эллена, – воскликнул он, забыв о рассудительности, – мы расстаемся с тобой как будто бы навеки! На сердце у меня тяжесть, которую я не в силах сбросить. Я согласен с тем, что тебе необходимо удалиться пока в монастырь, – этот шаг продиктован соображениями благопристойности; я должен, однако, знать о скором твоём возвращении; знать, что скоро ты покинешь келью как моя жена, дабы никогда уже более не удаляться от меня, от моей нежной любви и заботы. Опасаться вроде бы нечего – и все же тревога мешает мне полагаться на настоящее и заставляет остерегаться будущего. Неужели случится так, что я тебя потеряю; неужели ты не будешь моей навсегда? Коли возникают подобные сомнения, как мог я малодушно тебя отпустить? Почему я не настоял на том, чтобы скрепить без промедления те неразрывные узы, расторгнуть которые не властен никто из смертных? И как мог я предоставить решение собственной судьбы воле случая, когда способен был устранить источник угрозы! Впрочем, почему – был? Думаю, еще и сейчас не поздно... О Эллена! Пусть суро-

вость обычая подчинится моему стремлению спасти свое счастье. Если ты и отправишься в монастырь Санта-Мария, то только для того, чтобы предстать перед его алтарем!

Вивальди произнес эту тираду порывисто, не давая Эллине возможности вставить хотя бы слово; когда же он умолк, Эллине нежно укорила юношу за недоверие к ней и попыталась развеять одолевавшие его недобрые предчувствия, но отказалась внять его просьбе. Она напомнила, что не только душевное состояние вынуждает ее к уединению, но и уважение к памяти тетушки; она добавила строго: если Вивальди так мало полагается на ее постоянство, что без свершения брачного обряда сомневается в ее верности даже на протяжении столь короткого времени, то он поступил опрометчиво, избрав ее подругой всей жизни.

Вивальди, пристыженный выказанной им слабостью, умолял о прощении, стараясь унять внутреннее волнение, оправдываемое страстью, но порицаемое разумом, – и все-таки не мог обрести ни спокойствия, ни уверенности в грядущем; даже Эллине, хотя поведение ее определялось безошибочностью ее чувств, не в силах была совершенно освободиться от подавленности, которую испытывала с самого начала разговора. При прощании влюбленные обливались слезами; Вивальди ушел не сразу: он еще возвращался – то испросить новое обещание, то выяснить какую-то подробность, – пока Эллине с вымученной улыбкой не заметила, что подобным образом расстанутся не на несколько дней, а разве только перед вечной разлукой; ее упрек вселил в юношу новые страхи, послужившие предлогом для новой задержки. Наконец, сделав над собой немалое усилие, Винченцио покинул виллу Альтьери и, поскольку до назначенного расследования в крепости Палуцци оставалось слишком много времени, вернулся в Неаполь.

Эллине меж тем, желая рассеять грустные воспоминания, занялась сборами к намеченному на завтра отъезду и провела весь вечер до позднего часа в хлопотах. Ей предстояло – хотя и ненадолго – покинуть дом, где она провела столько лет: жила она под этим кровом с тех самых пор, как начала помнить себя, и теперь ей было очень грустно. Непросто было оставить привычное, хорошо знакомое обиталище, где, казалось, все еще медлила с уходом тень покойной тетушки; дом представлялся Эллине последним островком недавнего благополучия, живым памятником минувших лет; он служил ей утешением и в нынешней горе; Эллине чудилось, будто она должна вступить в некий новый и бесприютный мир. По мере того как надвигался урочный час, Эллине все сильнее ощущала привязанность к дому – ей думалось, что дороже всего вилла Альтьери станет ей в самую последнюю минуту расставания.

Эллине подолгу задерживалась в любимых ею комнатах: войдя в столовую, где она ужинала с тетушкой накануне ее смерти, она погрузилась в грустные воспоминания – и, возможно, предавалась бы им еще дольше, если бы ее внимание не отвлекло внезапное шуршание листвы за окном; Эллине вскинула глаза, и ей померещилось, будто кто-то быстро проходит мимо. Ставни, как обычно, были открыты, дабы через окна свободно проникал в дом свежий ветерок с моря, и теперь встревоженная Эллине устремила было к окну, но не успела еще закрыть ставни, как до слуха ее из портика донесся стук – и тут же в вестибюле послышались вопли Беатриче.

Испуганной Эллине достало, однако, смелости устремиться на помощь старой служанке, но, едва она оказалась в проходе, ведущем в вестибюль, перед ней выросли трое мужчин в масках, закутанных в плащи. Эллине бросилась обратно в столовую – они последовали за ней. Запыхавшись, охваченная ужасом, Эллине постаралась взять себя в руки и спокойно спросить у незнакомцев, зачем они явились. Те молча набросили ей на лицо вуаль и, схватив с обеих сторон за руки – Эллине почти не сопротивлялась, умоляя отпустить ее, – повели к выходу.

В вестибюле Эллине увидела Беатриче, привязанную к колонне; еще один негодяй, тоже в маске, не сводил с нее глаз, молча делая угрожающие жесты. Крики Эллины, заклинавшей пощадить Беатриче так же отчаянно, как она просила о себе, вернули почти бесчувственную экономку к жизни, однако все мольбы оказались напрасными – и Эллине быстро увлекли из дома в сад. Там она потеряла сознание. Очнувшись она в карете, двигавшейся с большой скоро-

стью, где ее по-прежнему держали за руки те же самые, насколько она могла судить, похитители. Полумрак мешал Эллине разглядеть пристальней фигуры ее спутников, в ответ на все вопросы и просьбы хранивших гробовое молчание.

Всю ночь карета безостановочно катила вперед – лошадей меняли только однажды на почтовой станции, где Эллена попыталась криками привлечь внимание окружающих: занавески на окнах были плотно задернуты. Форейторы (очевидно, введенные в заблуждение похитителями) не замечали ее отчаяния – и спутники Эллины вскоре сумели лишить ее единственного средства, каким она могла оповестить о себе.

В первые часы Эллину целиком захлестнули и ужас и смятение: она никак не могла разобраться в случившемся, но мысли ее постепенно прояснились – и из глаз у нее брызнули слезы, вызванные безнадежностью положения. Ее разлучили с Винченцио – уж не навсегда ли? Жестокая невидимая рука, направляющая ее в неизвестность, наверняка не ослабит своей хватки, пока не поместит туда, где ее не в силах будет найти ее возлюбленный. Уверенность в том, что они с Винченцио больше на этом свете уже не увидятся, порой охватывала Эллину со всепоглощающей силой – все прочие чувства и соображения забывались и исчезали: в такие моменты ей становилось решительно безразлично, куда ее везут и что ее ожидает.

Из-за возраставшей духоты занавески слегка отодвинули, чтобы впустить внутрь кареты свежий воздух, и Эллена увидела, что с ней находятся только двое из тех, кто проник на виллу Альтьери, по-прежнему в плащах и масках. Определить, через какую именно местность они проезжают, было трудно: сквозь узкую щель виднелись только крутые вершины гор, скалистые обрывы и густые чащобы, нависавшие прямо над дорогой.

Около полудня, судя по накаленному воздуху, карета остановилась у почтовой станции – и в окошко подали воду со льдом: в тот момент, когда угол занавески отогнули в сторону, Эллена обнаружила, что вокруг – дикая пустынная равнина, стиснутая поросшими лесом горами. Люди у дверей почтовой станции, казалось, «не знали жалости и на себе ее не испытали». Безысходная бедность наложила свою печать на их бледные, изможденные лица; непреодолимая тревога затаилась в морщинах, избороздивших впалые щеки. Они отнеслись к Эллине довольно безразлично, хотя черты ее, отуманенные страданием, пробудили бы интерес в любом сердце, не ожесточенном собственными муками; маски и плащи ее спутников также не вызвали у них особого любопытства.

За все время пути Эллена впервые омочила губы прохладным питьем. Ее провожатые, осушив свои стаканы, вновь задернули занавеску и, несмотря на почти непереносимый зной, двинулись дальше. Изнемогая от жары, Эллена взмолилась о том, чтобы открыли окна, на что ее спутники, побуждаемые скорее собственными потребностями, нежели галантностью, раздвинули занавески, и взорам Эллины представился величественный горный край, однако ни единая примета не указывала на то, где они находятся. Эллена видела только головокругительные уступы и бездонные пропасти, обнажавшие разноцветные мраморные породы; растительность была довольно скудной – приземистые сосны, карликовые дубы и остролист: она придавала темные штрихи многокрасочным скалам, а иногда спускалась темневшими массами в глубокие извилистые долины, манявшие путника вдаль каждым новым поворотом. Ниже утесов простирались сумрачные рощи оливковых деревьев, далее шли пологие утесы, нисходившие к равнине террасами, на которых вился виноград и располагались возделанные участки с искусственной почвой, окаймленные зарослями можжевельника, гранатовыми и олеандровыми кустами.

Эллена, после долгого пребывания взаперти, в темноте, среди тревожных раздумий, нашла отраду, хотя и слабую, в созерцании лика природы; величие окружавшего ее ландшафта оживило ее душу, и она проговорила мысленно: «Если я приговорена к несчастью, я смогу перенести его с большей стойкостью именно здесь, а не среди обыденных проявлений природы. Эти грандиозные картины укрепляют и возвышают сердце. Невозможно склониться перед

враждебностью фортуны, пока шествуешь, словно с Божеством Небесным, среди Его изумительных Творений!»

Образ Вивальди мелькнул перед ее умственным взором – и Эллена залилась слезами; вскоре, однако, она преодолела минутную слабость и на протяжении всей дороги сохраняла полное самообладание.

Жара начала ослабевать, когда карета въехала в узкую теснину; впереди открывался – будто через перевернутый телескоп – вид на отдаленную равнину, над которой высились горы, освещенные пурпурным великолепием закатного солнца. По тенистому ущелью стремилась свой шумный ток река, падавшая со скал, пенясь и разбиваясь в брызги о темные камни, затем успокоенные воды мирно катились до нового обрыва, а там с раскатистым гулом низвергались в бездну, так что целое облако мелкой водяной пыли повисало в воздухе, венчая, словно короной, этот уединенный заброшенный уголок. Русло потока занимало все пространство ущелья, образовавшегося древле после потрясшей землю конвульсивной судороги, и дорога вилась по самому краю пропасти; нависшие над головой мрачные утесы вкупе с оглушительным ревом водопадов сообщали пейзажу особо зловещий вид, описать который не в состоянии ни одно перо. Эллена поднималась по ней не то чтобы равнодушно, но спокойно; испытывая наслаждение, смешанное с ужасом, смотрела она вниз, на неукротимо рвущийся поток; чувства ее достигли предельного напряжения, когда она увидела, что дорожка ведет к шаткому мостику, переброшенному через пропасть на головокружительной высоте над водой между двумя расположенными друг против друга скалами, между которыми низвергалась река. Мостик, защищенный ненадежными перилами, висел, казалось, где-то меж облаков. Оказавшись на нем, Эллена забыла едва ли не о всех своих несчастьях. Достигнув противоположной стороны лужайки, дорога на протяжении полумили полого спускалась от пропастей к просторным долинам, откуда распахивалась широкая панорама очерченных на горизонте и залитых солнцем вершин. Внезапная перемена пейзажа была равносильна переходу от смертной юдоли к вечному блаженству, но мысль об этом сходстве недолго тешила Эллену. На склоне горы, замыкавшей один из боковых отрогов могучего хребта и возвышавшейся над прочими пиками в горной цепи, которая опоясывала долину, виднелись шпили монастыря; Эллена почти сразу же поняла, что это и есть цель их путешествия.

У подножия горы карета остановилась; спутники Эллены сошли на землю и принудили ее поступить так же; подъем был для кареты слишком крутым и неровным. Эллена без сопротивления следовала за похитителями, точно ягненок, влекомый к жертвеннику; наверх среди скал шла извилистая тропа, отененная густыми зарослями, – миндальные и фиговые деревья, широколиственный мирт и кусты вечноцветущих роз тесно сплетались с ветвями земляничного дерева, сплошь осыпанного лепестками, с золотистым жасмином, восхитительной мимозой и множеством других источавших благоухание растений. В просветах между зарослями порой виднелись низины, переливавшиеся яркими красками, или же открывался вид на широкий простор, замкнутый по черте горизонта снежными вершинами Абруццо. С каждым новым шагом взору представлялись красоты, способные наполнить восхищением безмятежного созерцателя: прихотливо-узорчатые отвесные плиты мрамора, обломки горных пород, поросшие мхом и цветами всех оттенков радуги, непролазные дебри кустарников и величественно колебавшиеся в вышине листья стройных пальм очаровали бы кого угодно, кроме Эллены, душу которой обуревала тревога, и ее бесчувственных спутников. По мере приближения к монастырю меж деревьев начали проглядывать отдельные части громадного сооружения – шпили кафедрального собора над западным окном, узкие остроконечные крыши галерей, неприступные стены на краю обрывов и темный портал, ведущий в главный двор: все эти архитектурные детали, являясь взгляду сквозь сумрачные кипарисы и широколиственные кедры, казались несчастной Эллене предвестиями грозивших ей страданий. Миновав несколько надгробий с изваяниями, наполовину скрытыми среди разросшихся кустарников, ее спутники задержались у небольшой

часовни близ тропы; там, сверясь с какими-то бумагами (что вызвало у Эллены некоторое удивление), они отошли в сторону – словно бы посоветоваться относительно ее самой. Беседовали похитители так тихо, что нельзя было разобрать ни слова, но даже если бы обрывки их речей и достигли ее слуха, вряд ли это помогло бы ей угадать, кто они такие; любопытство Эллены было подогрето упорным молчанием, до сей поры строго ими соблюдавшимся.

Вскоре один из похитителей направился к монастырю, оставив Эллену на попечение своего сотоварища; у него Эллена почти без всякой надежды попыталась в последний раз снискать сочувствия, но на все ее мольбы он, отвернув лицо, отвечал только отстраняющим жестом руки; тогда Эллена приняла решение с твердостью и терпением встретить испытание, которого она не в силах была ни избежать, ни отворотить. Уголок, где ей пришлось дожидаться возвращения похитителя, отнюдь не навевал уныния – он мог внушить разве что возвышенную меланхолию, какая охватывает душу при виде грандиозного и величественного зрелища. Отсюда были явственно различимы необозримые равнины – прежде Эллене не доводилось видеть столь широкого простора – и мощная горная цепь, которая надежно ограждала расстилавшийся у ее ног великолепный ландшафт. Причудливо нагроможденные, вытянутые вверх пики, торжественно сгрудившись в темнеющей дали и напоминая костер, острые языки пламени, поражали монументальностью, тогда как более мелкие детали, недоступные глазу в этот вечерний час, сливались на расстоянии в единое массивное целое, которому смутные предзакатные тени придавали величавую выразительность. Царившее вокруг нерушимое безмолвие усиливало впечатление глубокой торжественности; Эллена сидела недвижно, погруженная в задумчивость, и тут до слуха ее донеслось пение: в соборе началась вечерняя служба; созвучная тишине гармония находилась в полном согласии с ее чувствами; выводимая хором мелодия нарастала, крепла, словно вдохновенная Небом, и стихала, истаивая в пространстве. Сердце Эллены отдалось могучей власти божественного песнопения; когда раздались женские голоса, присоединившиеся к монашескому хору, у Эллены родилась надежда, что монахини проникнутся участием к ее страданиям и отнесутся к ней с сочувствием столь же нежным, как их пение.

Эллена уже полчаса отдыхала на травяном склоне возле часовни, когда увидела в сумерках, как из монастыря к ней спускаются два монаха. Еще немного – и она различила их одеяние из грубой серой ткани, их капюшоны и бритые головы с небольшими венчиками седых волос, что служило указанием на их принадлежность к определенному ордену. У часовни монахи приветствовали спутника Эллены, с которым отошли в сторону для переговоров. Эллена впервые услышала голос своего провожатого – и, несмотря на приглушенный тон, хорошо его запомнила. Второй негодяй еще не появился, однако монахи, несомненно, вышли в ответ на его сообщение; когда Эллена взглядывала на того, кто был повыше ростом, ей порой представлялось, что она видит перед собой отсутствующего злоумышленника, – и чем пристальней она его рассматривала, тем более укреплялась в своей догадке. Телосложением оба во многом сходились: та же самая нескладная худоба, которую даже разбойничий плащ не в состоянии был скрыть, обнаруживала себя и под складками монашеского одеяния. Если можно судить о характере по внешности, то монах явно обладал хищным нравом: его острый пронзительный взгляд, казалось, постоянно выискивал себе жертву. Его брат по ордену ни наружностью, ни манерой держаться приметно не отличался.

После недолгого совещания монахи подошли к Эллене и объявили ей, что она должна направиться вместе с ними в монастырь; сопровождавший ее похититель между тем, препоручив свои обязанности монахам, немедленно пустился в обратный путь вниз с горы.

В полном молчании все трое прошествовали по крутой тропинке к воротам уединенной обители, которые им отворил послушник. Эллена очутилась внутри просторного двора, три стороны которого были обнесены высокими зданиями с крытыми галереями, а четвертая вела в сад, отененный аллеями задумчивых кипарисов и простиравшийся вплоть до собора с укра-

шенными лепкой окнами и резными шпилями, который замыкал собой перспективу. Слева от сада располагались другие строения, тогда как справа за монастырем расстилались обширные оливковые рощи и виноградники.

Монах, сопровождавший Эллену, пересек двор по направлению к северному крылу и позвонил там в колокольчик; дверь открыла монахиня, на чье попечение Эллена и была передана. Духовные особы обменялись многозначительным взглядом, однако ни слова не было сказано; монах удалился, монахиня же, по-прежнему сохраняя молчание, провела Эллену по безлюдным коридорам, где не слышалось ни единого, даже отдаленного шага, а стены украшали аляповатые изображения, имевшие предметом суровые предписания религии и призванные внушать благоговейный трепет. Надежды Эллены, уповавшей на жалость и сострадание, растаяли при виде мрачных картин, которые свидетельствовали о нраве здешних обитателей: к тому же запечатленное на лице монахини выражение угрюмой злобы говорило о ее готовности навлечь на окружающих хотя бы часть того несчастья, от которого она сама страдала. Монахиня бесшумно скользила вперед в белом одеянии, развевавшемся в пустынных переходах; ее изможденные черты слабо озарялись игрой светотени от едва мерцавшей свечи, которую она держала в руке; весь облик ее напоминал скорее призрак, только что восставший из могилы, нежели живое человеческое существо. Наконец они остановились у приемной аббатисы, и, обернувшись к Эллине, монахиня произнесла:

– Сейчас читаются вечерние молитвы. Вам придется подождать здесь, пока наша настоятельница не вернется из церкви; тогда она с вами поговорит.

– Именем какой святой назван ваш монастырь, сестра, – спросила Эллена, – и под чьим началом он состоит?

Монахиня ничего не ответила и, окинув прищелицу недобрый испытующим взором, вышла за дверь. Несчастливая Эллена недолго оставалась одна: вскоре появилась аббатиса – величавая дама, явно обладавшая большим самомнением и приготовившаяся встретить гостью надменно, с жестким высокомерием. Будучи происхождения довольно знатного, аббатиса самым непростительным из всех возможных преступлений, близким к святотатству, полагала оскорбление, наносимое знатным особам. Неудивительно поэтому, что, предположив, будто Эллена, девушка без рода без племени, тайно пыталась связать себя родственными узами с благородным домом Вивальди, аббатиса прониклась не только презрением, но и негодованием – и с готовностью дала согласие не только покарать обидчицу, но и найти средства для сохранения старинного достоинства оскорбленной стороны.

– Насколько мне известно... – проговорила аббатиса, при появлении которой испуганная Эллена поднялась с места; не предложив ей сесть, аббатиса продолжила: – насколько мне известно, вы – именно та молодая особа, что прибыла из Неаполя.

– Меня зовут Эллена ди Розальба, – ответила ее собеседница, обретая мужество при словах аббатисы, которыми та желала подавить ее дух.

– Ваше имя мне безразлично, – заявила настоятельница. – Я знаю лишь то, что вас направили сюда, дабы вы познали себя и долг свой. Пока вы находитесь под моей опекой, и я намерена строжайшим образом блюсти возложенную на меня тяжкую обязанность, которую я согласилась исполнять из глубочайшего уважения к благородному семейству.

Эти слова тотчас же открыли Эллине виновника совершенного над ней деяния и мотивы, которыми тот руководствовался; Эллену так ошеломил внезапно представившийся ей ужас случившегося, что она безмолвно застыла на месте. В ней попеременно боролись страх, стыд и гнев; обвинение в том, что она якобы возмутила спокойствие семьи, с которой желала породниться, невзирая на выказанное ей презрение, поразило Эллену в самое сердце, однако сознание собственного достоинства вернуло ей уверенность в себе, возродило ее мужество и стойкость, а посему Эллена потребовала объяснить, по чьей воле она оторвана от дома и чьей властью содержится на положении узницы.

Аббатиса, не привыкшая к тому, чтобы слова ее вызвали сопротивление, от негодования не могла ответить, и Эллена, уже совершенно овладевшая собой, спокойно ожидала грозы, готовившейся разразиться у нее над головой. «Пострадала только я одна, – говорила она сама себе. – Так неужели же преступный гонитель будет торжествовать, а невинная страдальца склонится под бременем позора, которого заслуживают только виновные? Никогда не поддамся я столь недостойной слабости. Сознание собственной правоты укрепит во мне присутствие духа, которое позволит мне судить о моих притеснителях по их поступкам и презреть их власть».

– Должна вам напомнить, – произнесла наконец аббатиса, – что вопросы, вами задаваемые, не подобают вашему положению. Раскаяние и смирение лучше всего помогут вам искупить свою вину. Можете удалиться.

– Справедливо, – промолвила Эллена, с достоинством поклонившись настоятельнице. – Я охотно предоставляю такую возможность моим гонителям.

Эллена воздержалась от дальнейших расспросов и изъявлений неудовольствия; понимая, что упреки будут не только бесполезными, но и унижительными, она не замедлила исполнить веление аббатисы и решила стойчески переносить все страдания, раз уж они выпали на ее долю.

Из приемной аббатисы Эллenu сопровождала та же самая монахиня, которая ее приняла; они прошли через трапезную, где после вечерней службы собрались сестры во Христе; их пытливые взгляды, усмешки и торопливое перешептывание свидетельствовали о том, что новоприбывшая возбуждает в них не просто любопытство, но и подозрительность; Эллene стало ясно, как мало сочувствия можно ожидать от сердец, из которых даже повседневное служение Всевышнему не вытравило злобной зависти, которая побуждала их возноситься высоко, унижая других.

Крошечный покой, куда отвели Эллenu и оставили, к ее величайшему облегчению, в одиночестве, походил скорее на келью, нежели на жилую комнату; как и в прочих помещениях, здесь было только одно окно, забранное решеткой; узкое ложе, стол, стул, распятие и молитвенник составляли все убранство. Оглядев печальную свою обитель, Эллена с трудом подавила вздох, но, как ни старалась, не могла отогнать от себя воспоминаний, нахлынувших на нее при осознании перемены в ее судьбе; не в силах она была и подумать без горьких слез о Вивальди, оторванном от нее, быть может, навсегда и даже не подозревавшем, где ее искать. Но слезы, увлажнившие глаза Эллены, тут же высохли: воображению ее представилась маркиза – и иные чувства вытеснили горечь. Все случившееся с ней Эллена приписывала в первую очередь маркизе; теперь стало очевидным, что семейство Вивальди не просто не одобряет, но и решительно противится союзу с ее семьей. Не так изображала дело синьора Бьянки; исходя из репутации семьи Винченцио, она, хотя и предвидела с их стороны неодобрение его брака с Элленой, все же не сомневалась, что они вынуждены будут примириться с событием, которое даже самый высокомерный гнев не властен объявить недействительным. Сознание того, что ее отвергают наотрез и безоговорочно, пробудило в Эллene гордость, убаюканную ранее заблуждением тетушки и нежной привязанностью к Винченцио; теперь Эллenu мучили досада и острое раскаяние в том, что она дала согласие тайком войти в чужую семью. Честь сближения со знатным домом на поверку оказалась мнимой, после того как более основательно были взвешены условия, сопряженные с подобным родством. Здравый ум Эллены, получившей ныне возможность выносить суждения самостоятельно, подсказывал ей гордиться усердными трудами, доставлявшими ей средства к независимому существованию, гораздо больше, чем возможными привилегиями, дарованными скрепя сердце. Уверенность в собственной невинности, столь поддерживавшая Эллenu во время беседы с настоятельницей, начала ослабевать.

– В нареканиях аббатисы была и доля справедливости! – воскликнула Эллена. – Я с полным основанием навлекла на себя кару, поскольку позволила себе, пусть лишь на миг, унизиться до желания вступить в брачный союз, заведомо, как я знала, вызывающий неодобрение. Но еще не поздно восстановить уважение к себе, утвердив собственную независимость, – и

навсегда отринуть Вивальди. Отринуть Вивальди! Отказаться от того, кто любит меня всем сердцем? Обречь его на страдания? Сделать несчастным того, от одной мысли о ком к глазам моим подступают слезы и кому я дала обет верности? Пожертвовать избранником, могущим потребовать исполнения этого обета, воззвав к священной памяти о моей покойной тетушке? Порвать с тем, к кому я привязана всей душой? О злополучный выбор! – ибо я могу поступить благородно только ценою счастья всей моей жизни! Благородно? Можно ли назвать благородным поступок, если придется покинуть человека, готового отдать ради меня все на свете, и ввергнуть его в пучину горя, лишь бы только угодить предрассудкам родовитой фамилии?

Бедная Эллена понимала, что не в состоянии подчиниться диктату справедливо возмущенной гордости, ибо слишком бурно протестовало ее сердце, и подобного разлада в собственной душе она еще никогда не испытывала. Горячая привязанность не позволяла ей действовать с твердостью, которая обрекла бы ее на долгие страдания. Мысль о разрыве с Вивальди представлялась Эллине совершенно непереносимой, однако, стоило ей только вспомнить о его семье, ей казалось, что она никогда не согласится войти в нее. Эллена порицала бы и синьору Бьянки за недальновидность (ведь увещевания тетушки во многом способствовали нынешнему ее затруднению), однако нежность, которую она питала к ее светлой памяти, исключала такое отношение. Ей оставалось только безропотно сносить тяготы, противостоять которым было невозможно: и отказ от Вивальди ценой обретения свободы, буде ей предложили бы свободу на этом условии; и согласие соединиться с ним, презрев соображения гордости, если бы Винченцио вызволил ее из стен монастыря, – обе эти возможности представлялись смятенному уму Эллены одинаково неприемлемыми. Но когда Эллена подумала о том, что Вивальди, быть может, никогда не удастся обнаружить ее обиталище, сердце ее так мучительно сжалось, что она поняла: она гораздо больше боится утратить суженого, чем принять его предложение; любовь, стало быть, безраздельно господствует над всеми другими ее побуждениями.

Глава 7

Едва пробило час!
Шекспир У., Гамлет

Вивальди меж тем, нимало не подозревая о событиях, разыгравшихся на вилле Альтьери, направился, как и задумал, к крепости Палуцци в сопровождении своего слуги Пауло. Город они покинули глубокой ночью; дабы оставаться незамеченным, Винченцио не позволил Пауло зажечь взятый с собой факел; ему хотелось выждать некоторое время возле арки с целью подкараулить таинственного советчика, а уж затем тщательно обыскать всю крепость.

Спутник Винченцио был истинным неаполитанцем – приметливым, ловким, неуемно пытливым, сообразительным малым: склонность к интриге сочеталась у него с незаурядным чувством юмора, проявлявшимся не столько в речах, сколько в повадках и в выражении лица, в лукавости его черных пронизательных глаз, в полнейшем соответствии его мыслей и жестикуляции. Он был явным любимцем своего хозяина; по внутреннему складу не расположенный к юмору, но в высшей степени наделенный остроумием, Винченцио умел по достоинству ценить в других юмор и жизнерадостность. Вивальди покорила веселая naïveté⁴ молодого слуги, и в разговорах с ним он допускал непривычную для себя общительность; теперь, на пути к развалинам, он коротко поведал Пауло о недавнем своем приключении все, что почел необходимым для того, чтобы разжечь в нем любопытство и пробудить его бдительность. Рассказ возымел нужное действие. Пауло, неустрашимый от природы, скептически относился ко всякого рода суевериям; догадавшись тотчас же, что хозяин отнюдь не исключает сверхъестественных причин загадочных столкновений в крепости, он принялся слегка, на свой лад, над ним подтрунивать; однако Вивальди было вовсе не до шуток: суровое, даже мрачное настроение побуждало его временами предаваться некой волшебной власти, сковывавшей все его способности и заставлявшей замирать в напряженном ожидании. Винченцио уже и не помышлял почти о средствах защиты против врагов из плоти и крови, тогда как Пауло только о них и думал – и вполне разумно указывал на рискованность похода в Палуцци в столь поздний час. Вивальди возразил, что выследить монаха можно только под покровом тьмы: пылающий факел отпугнет его; имеются вдобавок веские основания для того, чтобы понаблюдать за ним, прежде чем расследовать его действия. По прошествии определенного времени, добавил Вивальди, факел можно будет зажечь в близлежащей хижине. Пауло возразил, что тогда преследуемый сумеет от них ускользнуть, и Вивальди пришлось пойти на уступку. Зажженный факел поместили в расселине между скалами, ограждавшими дорогу, а сами наблюдатели укрылись в густой тени под высокой аркой – поблизости от той ниши, где Вивальди нес стражу вдвоем с Бонармо. Едва только они успели это сделать, как издали донеслись удары колокола, возвещавшие о наступлении полуночи. В памяти Вивальди всплыли слова Скедони о том, что монастырь кающихся, облаченных в черное находится от Палуцци в непосредственной близости, и он осведомился у Пауло, не из этой ли обители доносится до них звон. Пауло отвечал утвердительно и прибавил, что весьма примечательные обстоятельства никогда не дадут ему забыть храма Санта дель Пьянто.

– Этот монастырь, синьор, наверняка вас заинтересует, – сказал Пауло. – О нем рассказывают уйму диковинных историй. Я склонен думать, что наш монах принадлежит к тому самому братству: поведение его слишком уж странно.

⁴ Наивность (фр.).

– По-твоему, я склонен принимать на веру всякую небывальщину? – с улыбкой спросил Вивальди. – Что именно тебе известно необычного касательно этого монастыря? Говори тихо, а не то нас услышат.

– Видите ли, синьор, история эта мало кому знакома, – прошептал Пауло. – Вообще-то я давал слово молчать о ней.

– Если ты связан обещанием, – перебил его Вивальди, – я запрещаю тебе рассказывать эту удивительную историю, хотя, сдастся мне, она так велика, что едва помещается у тебя в голове.

– Ей без труда подыщется место и в вашей, синьор, – откликнулся Пауло. – Я давал слово, но не давал клятвы – и потому охотно поделюсь услышанным с вами.

– Тогда начинай, только смотри говори возможно тише.

– Повинуюсь, синьор... Знайте же, что это случилось в канун праздника Святого Марка, тому назад лет шесть...

– Постой! – прервал его Вивальди.

Оба умолкли, вслушиваясь в тишину, но, так как всюду царило безмолвие, Пауло решил продолжить повествование, еще более понизив голос:

– Это случилось в канун Святого Марка, и, как только ударил последний колокол, один человек... – Тут Пауло вновь запнулся, ибо рядом с ним послышался шорох.

– Ты опоздал! – внезапно произнес голос, и Вивальди тотчас же узнал внушавшую трепет речь монаха. – Полночь минула, ее нет уже больше часа. Остерегись!

Пораженный знакомым голосом, Вивальди не сразу совладал с растерянностью; обуздав желание крикнуть: «Кого больше нет?» – он ринулся вперед – удержать незваного гостя; Пауло же, встрепенувшись при первых признаках тревоги, выстрелил наугад из пистолета, а затем поспешил за факелом. Вивальди, не питая ни малейшего сомнения в том, что оказался вплотную с невидимым преследователем, порывисто раскинул руки в надежде схватить противника, но тщетно: он всюду наткнулся только на пустоту. Непроницаемая мгла вновь сыграла с ним злую шутку.

– Ты разоблачен! – вскрикнул Вивальди. – Мы встретимся в храме Санта дель Пьянто! Что такое? О! Пауло, Пауло, – факел, скорее сюда факел!

Пауло подскочил с быстротой молнии.

– Он поднялся вверх вон по тем выступам в скале, синьор; я видел полы его одеяния!

– Следуй за мной! – приказал Вивальди, взбираясь по стертým ступеням.

– Вперед, вперед, синьор! – нетерпеливо подбадривал его Пауло. – Бога ради, не упоминайте только церковь Санта дель Пьянто, а не то мы поплатимся за это жизнью.

Пауло последовал за Вивальди к небольшой площадке, где тот, держа факел высоко над головой, оглядывался вокруг в поисках монаха. Окрест, в пределах, доступных глазу, царили запустение и тишина. Отблески пламени освещали лишь выщербленные стены цитадели, острые обломки скал внизу и вершины раскидистых сосен над ними; прочие развалины тонули в непроглядном мраке, а выше, за скалами, чернела непроходимая чаша.

– Ты видишь кого-нибудь, Пауло? – спросил Вивальди, размахивая факелом в воздухе, чтобы пламя разгорелось ярче.

– Мне почудилось, синьор, будто через сводчатые проходы по левую сторону от крепости мелькнула какая-то смутная фигура. Судя по его молчанию, он, как я понимаю, наверное, призрак; но, похоже, чутья, как спастись бегством, этому призраку у смертных не занимать; помчался он опроретью – только пятки засверкали, этак в пору удирать любому прокаженному в Неаполе.

– Меньше слов, больше осмотрительности! – сказал Вивальди, указывая факелом в том направлении, о котором говорил Пауло. – Будь осторожен; иди тихо.

– Повинуюсь, синьор, но, если мы будем освещать собственные следы, нашим преследователям вполне хватит глаз, даже если им откажут уши.

– Тише, довольно паясничать! – строго оборвал слугу Вивальди. – Иди за мной молча и будь настороже.

Пауло послушно двинулся вслед за Вивальди к веренице арок, соединенной со строением, необычность которого привлекла ранее внимание Бонармо: именно оттуда и сам Вивальди однажды вернулся с неожиданной поспешностью, чем-то потрясенный.

Поняв, к какому зданию он подходит, Вивальди вдруг остановился; Пауло, подметивший его волнение и, по-видимому, не слишком жаждавший подвигов, попытался отговорить хозяина от дальнейших розысков:

– Бог весть кто ютится в этом зловещем месте, синьор; быть может, разбойников там хоть пруд пруди, а нас-то всего-навсего двое! К тому же, синьор, вон через ту дверь, – и он указал как раз на тот выход, из которого некогда появился устранный Вивальди, – именно там, мне померещилось, что-то только-только прошло мимо.

– Ты уверен в этом? – возбужденно спросил Вивальди. – А каковы были его очертания?

– Здесь так сумрачно, синьор, что мне ничего не удалось разглядеть.

Вивальди не отрывал глаз от сооружения, и душу его сотрясали самые противоречивые чувства. Недолго думая, он решился.

– Я пойду вперед, – проговорил он, – и покончу любой ценой с неизвестностью, которую не в силах долее терпеть. Пауло, задержись на минуту и взвесь основательно, готов ли ты положить на свою храбрость – ведь она может подвергнуться суровому испытанию. Если готов – молча следуй за мной, и советую тебе держать ухо востро; если раздумаешь – я пойду один.

– Мне уже слишком поздно, синьор, задаваться подобным вопросом, – ответил Пауло со смиренным видом. – Я решил его давным-давно, а иначе не пошел бы за вами так далеко. Раньше, синьор, вы никогда не ставили под сомнение мою храбрость.

– Тогда идем! – скомандовал Вивальди, обнажив меч, и они вступили в узкий проем. Факел, который держал теперь Пауло, слабо осветил казавшийся нескончаемым каменный коридор.

На ходу Пауло заметил, что стены кое-где покрыты пятнами, напоминавшими кровь, но предусмотрительно не поделился своими наблюдениями с хозяином, памятуя строжайший его наказ блюсти полное молчание.

Вивальди ступал осторожно и часто останавливался, вслушивался и затем ускорял шаг, знаками призывая Пауло следовать за ним и хранить бдительность. Коридор упирался в начало лестницы, которая вела, очевидно, к расположенным внизу сводам; Вивальди вспомнился мелькнувший там свет, и впечатление от пережитого тогда заставило его остановиться в нерешительности.

Немного помедлив, Вивальди оглянулся на Пауло – и не успел шагнуть дальше, как тот схватил его за руку.

– Стойте, синьор, – проговорил он приглушенным голосом. – Неужели вы не замечаете фигуры, которая стоит вон там, во тьме?

Вивальди взгляделся туда, куда показывал Пауло, и различил что-то напоминавшее человеческую фигуру, но застывшее в неподвижном безмолвии в темном проходе возле лестницы. Одевание на ней, если только это было одеяние, казалось черным, однако сама фигура вырисовывалась настолько смутно, что невозможно было определить, принадлежит ли она монаху. Вивальди взял у Пауло факел и вытянул руку вперед, желая на расстоянии пристально всмотреться в загадочное явление, прежде чем двигаться дальше; попытка не удалась – и, возвратив факел Пауло, Вивальди устремился вперед. Но только он достиг начала лестницы, как призрак – или что бы это ни было – исчез бесследно. Пауло точно показал, где стояла фигура, но никаких следов ее присутствия обнаружить не удалось. Вивальди громко окликнул монаха, но

услышал в ответ только отголоски эха, стихавшие под просторными сводами; поколебавшись с минуту, он стал спускаться вниз.

Пауло сошел вслед за хозяином лишь на несколько ступеней – и вдруг воскликнул:

– Он здесь! Синьор, я снова его вижу: он ускользнул через дверь, ведущую под своды!

Вивальди шагал вперед столь стремительно, что Пауло, с факелом в руке, едва за ним поспевал; наконец юноша остановился перевести дыхание – и вдруг сообразил, что находится в той же самой просторной комнате, куда ранее спускался по лестнице. Пауло, взглянув на хозяина, увидел, как сильно он изменился в лице.

– Вы больны, синьор? – вскричал слуга. – Во имя святого нашего покровителя, покинем это место. От здешних обитателей добра не жди, и, если мы туг застрянем, ничего хорошего из этого не выйдет.

Вивальди молчал: дыхание давалось ему с трудом, глаза были опущены...

В это мгновение из дальнего угла послышался скрип, похожий на то, как если бы с трудом открывалась тяжелая дверь на заржавленных петлях. Пауло резко обернулся, и оба увидели, как дверь в стене медленно отворилась, а потом тотчас захлопнулась, словно кто-то страшился быть обнаруженным. Бросив на него беглый взгляд, оба подумали, что перед ними та самая фигура, которая стояла у лестницы, и что это не кто иной, как сам монах. Подбодренный этой верой, Вивальди, мгновенно овладев собой, метнулся к двери, которая оказалась незапертой и легко уступила его нетерпеливому напору.

– Теперь ты меня не одурачишь! – вскричал Винченцио, врываясь внутрь. – Пауло, посторожи у входа!

Вивальди окинул взором другой склеп, в котором теперь находился, но всюду было пусто; он тщательно исследовал каждую пядь пространства – в особенности стены, однако нигде не нашел ни малейшей трещины или щели (не говоря уже о дверях или окнах), через которую мог удалиться злоумышленник; единственно под потолком имелось крошечное зарешеченное окошко, пропускавшее слабый свет и воздух. Вивальди был изумлен.

– Мимо тебя проскользнул кто-нибудь? – обратился он к Пауло.

– Нет, maestro!

– Просто невероятно! – воскликнул Вивальди. – Нет, этот монах не может принадлежать роду человеческому!

– Если это так, синьор, – возразил Пауло, – с чего бы ему нас бояться? А ведь он перед нами робеет, иначе с какой стати он от нас убегает?

– Сказать наверняка нельзя, – заметил Винченцио. – Быть может, он заманивает нас в ловушку. Дай-ка сюда факел: здесь в стене есть подозрительная выемка.

Пауло поднес факел поближе, но возбудившее их любопытство углубление, походившее на дверной створ, оказалось простой неровностью.

– Непостижимо! – воскликнул Вивальди после долгой паузы. – Зачем нужно человеческому существу так терзать меня?

– А зачем это нужно существу сверхчеловеческому, мой синьор?

– Меня предупреждают о грозящих мне бедствиях, – задумчиво продолжал Вивальди, – о предстоящих событиях, которые неизменно сбываются; тот, кто предупреждает меня, постоянно встречается мне на пути – и с дьявольской ловкостью ускользает из моих рук, делая погоню бесполезной! Непостижимо, каким образом удастся ему сгинуть с глаз, словно бы раствориться в воздухе, при моем приближении! Он неустанно является моему взору, однако настигнуть его невозможно.

– Справедливо, синьор, – отозвался Пауло, – настигнуть его невозможно, а посему умоляю вас отказаться от поисков. Эти места таковы, что поневоле поверишь в ужасы чистилища! Идемте отсюда, синьор.

– Только дух мог исчезнуть из склепа столь таинственным образом, – пробормотал Вивальди, не слушая Пауло, – только бестелесный дух...

– Я не прочь был бы доказать, что тело способно покинуть этот склеп с неменьшей легкостью, – заявил слуга, – и сам охотно просочился бы через эту дверь.

Не успел он договорить, как наружная дверь захлопнулась с оглушительным грохотом, эхо от которого прокатилось по всему зданию; Вивальди и Пауло в ужасе замерли на месте, но тут же, опомнившись, поспешили к выходу, желая поскорее открыть дверь и уйти. Легко вообразить охватившее их отчаяние, когда оказалось, что дверь не поддается никаким усилиям. Массивные деревянные доски скреплялись неодолимо прочными железными болтами: дверь служила, очевидно, для охраны тюрьмы или темницы старинной крепости.

– Ah, signor mio!⁵ – вздохнул Пауло. – Если этот монах и был бесплотен, то насчет нас явно не сомневался в обратном, раз уж заманил сюда... Вот бы обменяться с ним природным составом хоть на секундочку; не могу взять в толк, как нам, смертным, выкарабкаться из этой западни. Согласитесь, maestro, что о таком вот злослучении монах вас не предупредил, разве только через мое посредство: ведь заклинал же я вас...

– Уймись, милейший синьор buffo!⁶ – вскричал Вивальди. – Хватит молоть вздор: нам надо вместе искать пути к спасению.

Вивальди вновь – и столь же безуспешно – исследовал стены, зато в углу наткнулся на предмет, бывший, казалось, наглядным свидетельством того, какая участь постигала здешних узников и предназначалась, вероятно, им самим: там лежало одеяние, запятнанное кровью. Вивальди и Пауло обнаружили его одновременно – и жуткое предчувствие собственной участи пригвоздило их к месту. Вивальди опомнился первым: он не впал в отчаяние, а, напротив, призвал на выручку все свои способности, дабы придумать способ освободиться; Пауло же, похоронив все надежды на избавление, не в силах был отвести глаз от чудовищной находки.

– Ах, синьор! – вымолвил он наконец прерывавшимся голосом. – Кто осмелится приподнять край этого покрыва? Что, если под ним покоится изуродованное тело, запятнавшее его своей кровью?

Вивальди не без содрогания взгляделся в находку.

– Оно движется! – завопил Пауло. – Я вижу, как оно движется!

С этими словами он отскочил в дальний угол комнаты. Вивальди отступил на несколько шагов, однако тут же вернулся на прежнее место; твердо вознамерившись узнать правду безотлагательно, он приподнял ткань за край острием меча: под нею лежала беспорядочно нагроможденная груда одежды, даже пол был запятнан кровью.

Не сомневаясь, что страх застил глаза Пауло, Вивальди некоторое время хладнокровно наблюдал представшее его взору страшное зрелище и вскоре убедился, что под окровавленными лохмотьями признаков жизни нет: скорее всего, здесь была только одежда, принадлежавшая несчастному, которого заманили в ловушку с целью грабежа, а потом прикончили. Утвердившись в этом мнении и брезгливо отвернувшись от этого зрелища, Вивальди отошел в дальнюю часть склепа; и для себя, и для своего слуги он с отчаянием ожидал теперь самого худшего. Похоже было на то, что их завлекли в ловушку разбойники; однако, поразмыслив над обстоятельствами пленения и припомнив разные подробности того, как они попали в склеп, Вивальди отверг эту догадку как в высшей степени неправдоподобную. Трудно было предположить, что грабители стали бы тратить время на всякие уловки, вместо того чтобы учинить над ними расправу с самого начала; еще невероятнее, что они так долго оттягивали бы осуществление своего плана, а самое главное – Винченцио уже ранее был совершенно в их власти, однако они пренебрегли удобным случаем и позволили ему покинуть развалины целым

⁵ Ах, мой господин! (*ит.*)

⁶ Комик (*ит.*).

и невредимым. Все это казалось крайне сомнительным, хотя нельзя было исключить и такую возможность; но торжественные предостережения и предсказания монаха, многократно повторенные и всегда точно сбывавшиеся, никак не могли иметь даже отдаленной связи с бандитскими замыслами каких-нибудь головорезов. Отсюда явствовало, что захвачены они отнюдь не грабителями, а если даже допустить, что они именно в их власти, то монах с ними никак не связан; и все же голос монаха, бесспорно, только что звучал под сводами арки; и, по словам Пауло, некто в монашеском облачении поднимался по крепостной лестнице; у обоих, кроме того, имелись веские основания полагать, что позже именно неясная фигура монаха, ими преследуемого, привела их в этот склеп, где они оказались в заточении.

По мере того как Вивальди взвешивал перечисленные обстоятельства, тревога его заметно возрастала и он все более начинал склоняться к убеждению, что фантом, принявший облик монаха, имел сверхъестественную природу.

«Если бы это видение являлось – *и только*, – рассуждал Вивальди, – я, наверное, счел бы его беспокойным духом несчастного (безусловно, убитого в этом подвале); я решил бы, что призрак привел меня сюда, чтобы деяние стало известно, а кости жертвы предали освященной земле; но ведь монах – или кем бы он там ни был – не молчал и пекся отнюдь не о себе: его заботили события, сопряженные с моим благополучием; он предрекал будущее и ссылался на прошлое! Если бы он заговорил о себе или даже не проронил ни слова, его облик, способность ускользать от преследования настолько выходят за рамки обычного, что я принял бы, возможно, на веру предания наших предков и посчитал его тенью убитого».

Борясь с сомнениями, Вивальди вновь решил посмотреть на кровавое одеяние; подняв его, он вдруг обнаружил не замеченную им ранее черную ткань, лежавшую вместе с прочим тряпьем; подцепив ее мечом, он различил в ней часть монашеского одеяния! Это открытие заставило его вздрогнуть и отшатнуться, как от видения, столь упорно испытывавшего его доверчивость. Здесь были пояс и наплечник – разодранные, с пятнами крови! Вглядевшись в находку, Вивальди уронил ее на общую грудь; безмолвно следивший за ним Пауло воскликнул:

– Синьор, это, должно быть, одеяние того самого демона, который завлек нас сюда! Или же это саван для нас, *maestro*? А может, оно было предназначено для тела, в которое он вселился, когда обитал на земле?

– Ни то ни другое, надеюсь, – пробормотал Вивальди, стараясь побороть внутреннее смятение и отворачиваясь. – Поэтому давай еще раз попробуем выбраться на волю.

Обретение свободы, однако, оказалось задачей неосуществимой; Вивальди снова и снова обрушивался всей тяжестью на неприступную дверь; поднимал Пауло, чтобы тот мог дотянуться до зарешеченного оконца под потолком; громко звал на помощь, напрягая голос, в чем весьма умело пособлял ему слуга; исчерпав наконец все средства, отчаявшийся Вивальди в полном изнеможении растянулся на каменном полу темницы.

Пауло горько сокрушался над безрассудной опрометчивостью хозяина, подстрекнувшей его вторгнуться в богом забытое место, и оплакивал предстоявшую им голодную смерть:

– О синьор, если нас даже и не заманили сюда, чтобы убить и обобрать, если даже нас не окружают враждебные духи (святой Януарий да не позволит мне сказать, что я не верю в это!) – предположим, что все обстоит именно так, синьор, но ведь смерти от голода нам вряд ли удастся избежать: да и какой прохожий услышит наши крики в таком глухом месте, можно сказать в подземелье?

– Утешать ты настоящий мастер, – со стоном выдавил из себя Вивальди.

– А вы, синьор, должны сознаться, что мы с вами квиты, – ответил Пауло. – Никто не умеет указывать дорогу лучше вас.

Вивальди ничего не ответил; он лежал, простертый недвижно, предаваясь мучительным раздумьям. Теперь он имел время всерьез вникнуть в последние произнесенные монахом слова; будучи настроен на самые мрачные предположения, он вообразил, будто они относятся

к Эллени, а фраза «Ее нет уже больше часа» – иносказательный способ оповестить о ее кончине. От подобной мысли все заботы о собственном спасении разом вылетели у юноши из головы. Он вскочил на ноги и принялся мерить узилище из угла в угол неровными шагами; от недавней гнетущей беспросветности не осталось и следа; жгучая тревога переворачивала все его существо; терзаемый неизвестностью относительно судьбы Эллены, Вивальди претерпевал муки нетерпения и ужаса. Чем больше он думал о возможной гибели Эллены, тем вероятнее она ему казалась. Монах уже предсказал однажды смерть синьоры Бьянки; при воспоминании о подозрительных обстоятельствах, сопутствовавших этому печальному событию, страхи за Эллenu охватили Вивальди с еще большей силой. Не в состоянии укротить бушевавшее в его груди волнение, Вивальди чувствовал, что сердце у него вот-вот разорвется на куски.

При виде горьких терзаний хозяина Пауло, позабыв, пусть и ненадолго, о собственной злой судьбине, попробовал выступить в роли утешителя и успокоить юношу указаниями на самомалейшие благоприятные стороны их положения, оставляющие какие-то надежды; об очевидных отрицательных сторонах их заточения Пауло постарался упомянуть только вскользь. Вивальди, однако, не воспринимал из его речей ни единого слова, пока тот не упомянул церковь дель Пьянто: все связанное с монахом, намекнувшим на участь Эллены, страстно интересовало несчастного влюбленного; он отвлекся от собственных мыслей, желая выслушать рассказ, могущий прояснить его предположения.

Пауло не слишком охотно уступил настоятельному требованию Винченцио. Он оглядел пустынный склеп, словно опасался тайного присутствия постороннего, который может не только подслушать его слова, но и вмешаться в разговор.

– Мы здесь тоже, можно сказать, удалились от мира, синьор, – заметил Пауло, собираясь с духом. – Пожалуй, риск того, что наши секреты выйдут наружу, не слишком велик. И все же, *maestro*, береженого Бог бережет; верней будет поостеречься; поэтому вам лучше сесть на пол, а я стану рядом и поведаю вполголоса все, что знаю о монастыре Скорбящей Пресвятой Девы, а знаю я, впрочем, не так-то много.

Вивальди сел на пол; по его знаку Пауло устроился рядом и начал тихо рассказывать:

– Это произошло в канун праздника Святого Марка, едва только отзвонил последний удар вечернего колокола... Вам не приходилось бывать в церкви Санта-Мария дель Пьянто, синьор, иначе бы вы знали, какой мрак царит в этом старинном храме. Не успел стихнуть колокол, как у исповедальни в одном из боковых приделов появился человек, так плотно закутанный, что нельзя было различить ни его лица, ни фигуры; он поместился на ступеньках одного из отделений, примыкавших к креслу исповедника; но даже если бы он оделся так же легко, как и вы, синьор, он ничуть не хуже был бы скрыт от стороннего взора: придел освещается только одной лампой – а она очень далеко, у самого витража; иногда, правда, зажигают свечи у гробницы святого Антония – это в противоположном конце, и все равно в храме тогда немногим светлее, чем в этом склепе. Это, несомненно, устроено для того, чтобы кающиеся не слишком краснели, сознаваясь в грехах; да и в самом деле, при таком полумраке больше наберется денег для бедняков: монахи в этом смысле очень приметливы...

– Ты потерял нить повествования! – нетерпеливо перебил слугу Вивальди.

– Да-да, синьор, на чем бишь я остановился? А, на ступенях исповедальни... Так вот, незнакомец опустился на колени и поначалу ничего не мог произнести на ухо исповеднику: только тяжкие стоны его были слышны по всему проходу. Вы должны помнить, синьор, что монахи в церкви Санта дель Пьянто принадлежат к ордену кающихся, облаченных в черное; и особо закоренелые грешники иногда приходят именно сюда за советом, как им поступить. Случилось так, что в кресле сидел тогда сам главный исповедник – отец Ансальдо (по обычаю, соблюдаемому в канун Святого Марка); мягко укорив грешника за чересчур громкий возглас, он увещевал его умерить скорбь, но кающийся отозвался еще более горестным, хотя и приглушенным стоном и приступил к исповеди. В каких грехах он изобличал себя – мне,

синьор, неведомо: ведь священник, как вы знаете, ни под каким видом не должен открывать тайну исповеди, кроме самых что ни на есть исключительных случаев. Услышанное, однако, было столь поразительным и чудовищным, что главный исповедник сорвался вдруг с кресла, бросился к галерее, но по дороге рухнул как подкошенный и забился в страшных судорогах. Понемногу придя в себя, исповедник спросил у окружающих, покинул ли церковь тот грешник, которого он только что выслушивал; он прибавил также, что в случае, если тот еще находится здесь, необходимо его задержать. Отец Ансальдо попытался описать по мере сил фигуру, которую смутно видел, когда она приближалась к исповедальне, но при одном воспоминании об исповеди у него опять едва не начались судороги. Один из духовников, устремившихся по приделу на помощь упавшему отцу Ансальдо, вспомнил, что человек, отвечавший описанию, торопливо прошел мимо него. Высокого роста, плотно закутанный в белое монашеское облачение, он быстро двигался по приделу к двери, выходившей во внутренний двор монастыря; духовник, однако, обеспокоенный нездоровьем главного исповедника, не обратил на него особого внимания. Отец Ансальдо решил, что это тот самый кающийся; призвали сторожа и спросили, не проходил ли мимо него такой человек; тот ответил, что за последние полчаса никто из ворот не вышел (возможно, так оно и было, синьор, если мошенник отлучился со своего поста). Далее, сторож упорно настаивал на том, что за весь вечер никто в белых одеждах близ церкви не появлялся, чем и доказал свою бдительность: ведь если он бодрствовал, то как мог не заметить неведомого посетителя? Как тот мог проникнуть в монастырь и невозбранно покинуть его?

– Так ты говоришь, он был одет в белое? – спросил Вивальди. – Если бы облачение было черным, я решил бы, что это тот самый монах, мой мучитель.

– Верно, синьор! Мне это и самому приходило в голову, – согласился Пауло. – Переменить одежду нетрудно, но если бы дело сводилось только к этому...

– Продолжай, – поторопил слугу Вивальди.

– Заверения сторожа убедили святых отцов в том, что незнакомец укрылся в стенах обители; обыскали весь монастырь, до последнего закоулка, но никого из посторонних не нашли.

– Это, конечно, тот самый монах, – проговорил Вивальди, – хотя и в другом облачении; на свете нет второго существа, способного держаться столь таинственным образом!

Речь его прервал глухой стон, показавшийся его расстроенному воображению стоном умирающего. Пауло тоже вздрогнул; оба напряженно прислушались в тягостном ожидании.

– А! – проговорил наконец Пауло. – Это всего-навсего ветер.

– Больше ничего не слышно... Продолжай, Пауло.

– И вот с тех самых пор, после той необычной исповеди, – возобновил рассказ Пауло, – отец Ансальдо уже не был сам собой; он...

– Не сомневаюсь, что он сам был причастен к преступлению, открытому на исповеди, – заметил Вивальди.

– Нет-нет, синьор, я ни о чем подобном не слышал: события, которые позже последовали, свидетельствовали об обратном. Спустя месяц – или около того – одним душным вечером, когда монахи возвращались с последней службы...

– Тише! – прервал его Вивальди.

– Я слышу, кто-то шепчется... – Пауло сам перешел на шепот.

– Не шевелись! – приказал Вивальди.

Оба настороженно вслушались: тишину нарушал невнятный ропот, похожий на отдаленное бормотание; нельзя было сказать с уверенностью, откуда доносились приглушенные голоса – из смежного помещения или же из склепа, находившегося внизу, под полом. Речи то стихали, то делались громче: те, кто переговаривался между собой, очевидно, старались беседовать возможно тише, как будто боялись, что их услышат. Вивальди пребывал в нерешительности, не зная, что лучше – затаиться или просить о помощи.

– Примите во внимание, синьор, – заметил Пауло, – что мы легко можем умереть с голоду, ежели только нам не достанет духу окликнуть этих людей – или кем бы они там ни оказались.

– Недостанет духу! – вскричал Вивальди. – Мне ли, несчастнейшему из смертных, бояться кого-то? О Эллена, Эллена!

Вивальди тотчас же принялся громко звать тех, чьи голоса слышал; в этом ему усердно помогал Пауло, однако их продолжительные возгласы остались втуне: на их призывы никто не откликнулся – и даже неясные звуки, достигавшие их слуха, совершенно прекратились.

Изнуренные бесплодными усилиями, пленники растянулись на полу темницы, отказавшись от всех дальнейших попыток обрести свободу раньше того времени, когда на помощь им придет утренний свет.

Вивальди утратил всякое желание просить Пауло закончить рассказ. Едва ли не отрешившись от всех надежд, он не мог проникнуться особым интересом к судьбам незнакомцев: ему уже стало ясно, что повествование никак не касается Эллены и нового о ней он ничего не узнает; да и Пауло, надорвав голос до хрипоты, рад был возможности помолчать.

Глава 8

*О, кто она – в лучах заката тихо
Ступающая к келье монастырской,
Нечаянно вуаль с лица откинув,
Что святости исполнено высокой?*

В первые дни пребывания Эллены в монастыре Сан-Стефано ей не разрешали покидать комнату. Дверь была заперта, и никто не приходил к ней, кроме монахини – той самой, что в первый день ввела ее в покои аббатисы; она и приносила Эллине скудную еду.

На четвертый день – когда, по-видимому, сочли, что воля сломлена заточением и страхом перед страданиями, которые выпадут на ее долю, если она вздумает сопротивляться, – Эллину вызвали в приемную аббатисы. Аббатиса была одна и встретила узницу с самым суровым видом, только укрепившим в Эллине готовность к терпению.

После речи об отвратительном деянии, ею совершенном, и о необходимости принять самые жестокие меры, дабы защитить покой и достоинство благородного семейства, аббатиса уведомила Эллину о том, что та должна сделать выбор – либо принять монашеский постриг, либо выйти замуж за человека, которого маркиза ди Вивальди, по великой своей милости, назначила ей в супруги.

– Вы в неоплатном долгу перед маркизой, – заявила аббатиса, – и никогда не сможете достойно отблагодарить ее за проявленное ею великодушие, ибо вам предоставлено право самой определить свою судьбу. После того оскорбления, какое вы дерзнули нанести маркизе и всему знатному роду Вивальди, вы никак не могли рассчитывать на подобное снисхождение. Естественно было предположить, что маркиза подвергнет вас самой строгой каре, однако вместо этого она позволяет вам вступить в наше сообщество; если же вы слишком слабы душой и не в силах принудить себя отречься от греховного света, она разрешает вам вернуться в мир и доставляет вам подходящего спутника в трудах и заботах – спутника жизни, гораздо более отвечающего вашим обстоятельствам, нежели тот, на кого вы осмелились поднять взор.

Эти грубые слова больно задели гордость Эллены; она покраснела и замкнулась в презрительном молчании. Она искренне негодовала при виде несправедливости в одеждах милосердия и жесточайшего произвола, выдаваемого за кроткую благодетельность. Разоблачение злых замыслов, против нее направленных, не слишком потрясло Эллину: с первой же минуты пребывания в монастыре она приготовилась к самому худшему, дабы стойко выдержать любое страшное испытание, – ей верилось, что непоколебимость ее воли истощит ярость недругов и восторжествует в конце концов над злым роком. Только мысли о Вивальди лишали ее спокойствия, и испытываемые ею горести казались непереносимыми.

– Так вам угодно молчать? – выдержав паузу, бросила аббатиса. – Неужели же вы способны на неблагодарность по отношению к великодушной маркизе? Вероятно, сейчас вы просто не в состоянии оценить ее доброту к вам – и я не воспользуюсь вашим неблагодарием, не сыграю на вашей неучтивости: я все еще предоставляю вам свободу выбора. Можете удалиться к себе; поразмыслите и примите решение. Но помните: данного вами слова вы обязаны придерживаться неукоснительно, и иной путь, кроме двух названных, исключается. Если вы отвергаете постриг, вы должны принять предлагаемого вам супруга.

– Мне незачем удаляться к себе для раздумий и решений, – произнесла Эллина со спокойным достоинством. – Решение мною уже принято. Я отвергаю предложенную мне альтернативу. Я никогда не приму монашеского обета и не обреку себя на неминуемое прозябание, которым грозит мне супружество. Высказав вам это в лицо, я готова претерпеть любые муки, какие вам будет угодно мне причинить, но знайте, что сама я никогда не скреплю согласием

унизительные для меня условия: сердце мое исполнено ненасытной жадой справедливости – и это стремление вдохнет в меня бесстрашие, подкрепленное пониманием того, какая участь приличествует моему внутреннему складу. Теперь вам известны мои взгляды и мои намерения – повторяться я не стану.

Аббатиса, в продолжение всей речи Эллены взиравшая на нее в немом гневе, сумела наконец вымолвить:

– Где только вы набрались подобной непочтительности и разнузданной дерзости? Как смеее вы оскорблять вашу настоятельницу, блюстительницу религии, и не где-нибудь, а в ее святилище?

– Святилище уже поругано, – кротко, но с достоинством отозвалась Эллена, – оно превращено в тюрьму. Настоятельница монастыря навлекает на себя непочтительность только в том случае, если сама попирает священные заповеди религии, которой служит, – а религия заповедует справедливость и великодушие. Чувство, побуждающее нас почитать милосердные и благодетельные наказания, заставляет нас одновременно отвергать нарушителей их; повелевая мне чтить религию, вы толкаете меня к осуждению вас самих.

– Уходите! – вскричала аббатиса, порывисто приподнявшись в кресле. – Ваше предупреждение, столь кстати высказанное, не будет забыто.

Эллена охотно повиновалась и была отведена в свою келью, где спокойно могла предаться размышлениям над тем, как она держалась во время недавней беседы. Она с удовлетворением отметила про себя, что открыто заявила о своих правах, и радовалась твердости, с которой бросила упрек женщине, не постыдившейся требовать уважения от жертвы собственного беззакония. Эллена тем более одобряла такое поведение, что ни разу за все время разговора не уронила свое достоинство, не позволив себе ни вспышек, ни трусливой слабости. В полной мере оценив низость аббатисы, Эллена перестала ее стесняться: для нее существовал только суд людей добрых, и она была так же трепетно восприимчива к их порицанию, как глуха к нелестным суждениям людей порочных.

Утвердившись в своих решениях, Эллена отныне вознамерилась избегать, насколько удастся, повторения подобных сцен и на любые обиды отвечать молчанием. Она знала, что обречена страдать, и решила терпеть. Из трех уготованных ей испытаний заточение, несмотря на все его тяготы, представлялось менее суровым, чем насильственный брак или пострижение в монахини; в обоих случаях она должна была сама, по собственной воле, обречь себя на горе до конца жизни. Поэтому Эллене нетрудно было выбрать: дальнейший путь виделся ей совершенно ясно. Если она сможет спокойно претерпеть бедствия, бремя их будет вдвое легче; поэтому она изо всех сил стремилась обрести силу духа, необходимую для внутреннего равновесия.

Почти неделю после встречи с аббатисой Эллену держали в строгом заточении, но на пятый день ей разрешили присутствовать на вечерней службе. Идя по саду к часовне, она – после долгого заключения в четырех стенах – наслаждалась благами, даруемыми природой всякому смертному: чистотой свежего воздуха, яркой зеленью деревьев и кустарников. Вслед за монахинями она вошла в часовню, где обычно справлялись обряды, и заняла место среди послушниц. Торжественность службы – и в особенности та часть ее, которая сопровождалась музыкой, – сильно подействовала на Эллену, возвысив и укрепив ее дух.

Прислушиваясь к пению хора, Эллена особенно заметила один голос, поразивший ее необыкновенным звучанием: он отличался от других проникновенностью чувства и веры; в нем таилась печаль сердца, давно отринувшего мирские соблазны. Возвышался ли он под мощные раскаты органа или истаявал в стихавших гармониях хора – Эллене мнилось, будто ей сродни все переживания души, из которой этот голос изливался; она взглянула на галерею, где находились монахини, желая отыскать глазами лицо, гармонизировавшее с голосом и выражавшее ту же тонкую восприимчивость. Посторонние в часовню не допускались, и потому неко-

торые из сестер откинули покрывала с лиц: среди них Эллена не встретила ничего особенно примечательного; но зато внимание ее привлекла фигура монахини, опустившейся на колени в дальнем углу галереи – подле лампы, которая освещала ее сбоку; облик этой монахини всецело соответствовал мысленно созданному Элленой образу, да и голос, казалось, доносился именно оттуда. Лицо монахини скрывала черная вуаль – достаточно прозрачная, впрочем, чтобы увериться в ее миловидности; однако не только голос, но и набожная поза (более никто из сестер не преклонил колени) убедительно свидетельствовали о глубокой искренности покаяния и пылком благочестии.

Пение смолкло; женщина поднялась с колен и откинула вуаль: при ярком свете лампы взору Эллены представилась внешность, полностью утвердившая ее в первоначальном предположении. На ангельски кротком лице монахини запечатлена была смиренная отрешенность от земного, но проступавшая бледность указывала на затаенную скорбь, исчезающую только тогда, когда прилив благочестия возносил ее в горние сферы, наделяя вдохновенностью серафима. В такие мгновения глаза женщины, устремленные к небесам, преисполнялись преданно-страстным обожанием и возвышенным пылом, напоминавшим изображения Гвидо; в ушах Эллены звучал тогда очаровавший ее голос.

Эллена разглядывала монахиню столь пристально, что не замечала окружающего; ей показалось, что спокойствие в ее манере держаться вызвано скорее отчаянием, нежели смирением; уходя мыслями от службы, девушка устремляла в пространство взор, сосредоточенность которого казалась слишком страстной для обычного страдания или для строя ума, совместимого с полным смирением. В нем было, однако, много такого, что вызвало сочувствие Эллены, и многое, казалось, говорило о сродстве чувств между ними. Эллена не только успокоилась, но даже утешилась, взирая на инокиню; этот эгоистический порыв, вероятно, был извинителен: ведь она теперь знала, что хоть одно существо в монастыре способно проявить к ней жалость и готовность утешить ее. Эллена попробовала встретиться с ней глазами, дабы без слов высказать свое восхищение – и отчаяние, однако монахиня, целиком поглощенная молитвой, не заметила ее взгляда.

По окончании службы монахиня прошла мимо Эллены, и та, открыв лицо, обратила к ней взор столь красноречиво умолявший, что монахиня остановилась и, в свою очередь, пристально вгляделась в новую обительницу с любопытством, к которому примешивалось участие. На щеках ее заалел слабый румянец; казалось, ее охватило замешательство – и она с большой неохотой отвела взгляд от Эллены: необходимо было присоединиться к процессии; попрощавшись с ней невыразимо сострадающей улыбкой, монахиня проследовала во двор и вскоре исчезла за порогом покоев аббатисы. Эллена не переставала о ней размышлять, пока, в сопровождении надзирательницы, не оказалась у дверей собственной кельи, и только там отвлеклась от своих мыслей достаточно, чтобы спросить имя незнакомой монахини.

– Должно быть, вы подразумеваете сестру Оливию, – услышала она в ответ.

– Она очень красива, – заметила Эллена.

– У нас таких немало, – буркнула Маргаритоне с уязвленным видом.

– Разумеется, – согласилась Эллена, – но у нее очень трогательное лицо, исполненное искренности, благородства и отзывчивости; во взгляде ее сквозит нежная печаль, которая не может не привлечь внимание всякого, кто ее видит.

Эллена настолько увлеклась заинтересовавшей ее монахиней, что совершенно забыла, к кому обращается с восторженным описанием: очерствелое сердце ее спутницы было глухо к любой внешности (за исключением властного облика настоятельницы); для этой особы перечисленные Элленой достоинства были не более вняты, чем какая-то арабская надпись.

– Первое цветение ее юности уже позади, – продолжала Эллена, желая добиться понимания, – но она сохраняет всю прелесть молодости вместе с достоинством, присущим...

– Если вы говорите, что она пожилая, – раздраженно перебила ее Маргаритоне, – то наверняка имеете в виду сестру Оливию: она старше нас всех.

При этих словах Эллена невольно вскинула глаза на собеседницу: сестра Маргаритоне, судя по ее желтому исхудалому лицу, уже не менее полувека обреталась в земной юдоли; внутренне Эллена не могла не подивиться жалкому тщеславию, еще тлевшему в золе погасших страстей, и не где-нибудь, а под сенью монастыря. Маргаритоне, ревниво выслушавшая хвалебные слова Эллены об Оливии, отвергла все дальнейшие расспросы и, впусив Эллену в келью, заперла ее на ночь.

На следующий день Эллене вновь позволили присутствовать на службе; по пути к часовне ее окрыляла надежда снова увидиться с понравившейся ей монахиней. Та появилась на прежнем месте галереи и, как ранее, при свете лампы преклонила колени в неслышной молитве еще до начала службы.

Эллена подавляла нетерпеливое желание высказать монахине свое восхищение и добиться внимания с ее стороны, пока та не кончила молиться. Когда монахиня поднялась с колен и увидела Эллену, она откинула вуаль и устремила на девушку вопрошающий взгляд; лицо ее озарилось улыбкой, полной такого сочувствия и понимания, что Эллена, забыв о приличествовавших месту условностях, встала ей навстречу – ей почудилось, будто душа, которая сияла в улыбке неизвестной, давным-давно знакома с ее душой. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как Оливия опустила вуаль в знак укоризны; Эллена, тут же спохватившись, вернулась на свою скамью, однако в продолжение всей службы мысли ее были сосредоточены на Оливии.

По окончании службы, когда монахини покидали часовню, Оливия прошла мимо не оглянувшись, и Эллена с трудом удержалась от слез; у себя в келье она предалась глубокому унынию. Расположение Оливии было для нее не просто отрадой, оно казалось необходимым для самого ее существования – и Эллена с упоением вспоминала беспрестанно улыбку, так много сказавшую ей и пролившую луч утешения в безотрадный мрак ее темницы.

Из печальной задумчивости Эллену вывел легкий шорох шагов: шелкнул отпираемый замок, дверь кельи распахнулась – и перед ней предстала Оливия. Эллена взволнованно поднялась ей навстречу, а Оливия пылко пожала протянутую руку.

– Вы не привыкли быть в заточении, – печально произнесла Оливия, приседая и ставя на стол корзинку с провизией, – а наша грубая еда...

– Я понимаю вас, – отозвалась Эллена, взглядом выразив свою признательность. – Ваше сердце исполнено сострадания, хотя вы и живете в этой обители; вы тоже немало претерпели на своем веку, вам знакомо отрадное чувство, переживаемое теми, кто в силах облегчить муки ближнего и выказать знак внимания, свидетельствующий о вашем сочувствии. О, смогу ли я выразить, как меня это трогает!

Слезы помешали Эллене договорить. Оливия стиснула ей руку, пристально глядя в лицо: ее тоже охватило волнение, но вскоре она справилась с ним и, улыбаясь, сказала:

– Вы верно угадали мои чувства к вам, сестра, и догадались о том, как много мне пришлось пережить. Сердце мое не закрыто ни для жалости, ни для вас, дитя мое. Вы были предназначены для счастья, которое в этих стенах немислимо!

Оливия вдруг замолчала, словно позволила себе сказать лишнее, а потом добавила:

– Но вы сумеете, может быть, обрести душевный покой; если вас утешает мысль о близком присутствии друга – верьте в мою дружбу, но только молча, про себя. Я буду навещать вас, когда мне разрешат, но сами обо мне не спрашивайте; и если посещения мои окажутся недолгими – не уговаривайте меня задерживаться.

– Как это прекрасно! – воскликнула Эллена прерывавшимся голосом. – Как чудесно! Вы будете приходить ко мне... Вы питаете ко мне жалость...

– Тише! – взмолилась Оливия. – Ни слова больше, иначе нас услышат. Покойной вам ночи, сестра, да будет мирен ваш сон!

Сердце Эллены упало. Ей не хватало сил попрощаться, но глаза ее, наполненные слезами, были красноречивы. Монахиня поспешно отвела взгляд и, безмолвно пожав Эллени руку, покинула келью. Эллена, невозмутимо сохранявшая твердость духа перед оскорблявшей ее аббатисой, теперь, тронутая до глубины души добротой друга, дала волю слезам. Слезы принесли облегчение ее истерзанному сердцу, и она даже не пыталась их удерживать. Впервые с тех пор, как она рассталась с виллой Альтьери, Эллена могла думать о Вивальди более спокойно: в груди у нее начала оживать надежда, хотя рассудок не мог ничем оправдать ее.

Наутро Эллена обнаружила, что дверь ее кельи не заперта. Она тотчас же поднялась с постели и, не без надежды на свободу, торопливо перешагнула порог. Келью Эллены, обособленную от прочих, с главным зданием связывал небольшой коридор, упирившийся в запертую дверь; по существу, Эллена оставалась пленницей, как и прежде. Очевидно было, что Оливия не повернула ключ в замке, желая дать ей больше свободы передвижения, и Эллена была ей очень благодарна за такую заботу. Признательность ее еще более возросла, когда в конце коридора она заметила узкую винтовую лестницу, которая, видимо, вела к другим помещениям.

Эллена поспешила подняться по ступеням и обнаружила, что они подходят к двери в небольшую комнату, которая казалась ей ничем не примечательной до тех пор, пока она не приблизилась к окнам: оттуда открывался вид на необозримый простор – вплоть до самого горизонта, а от расстилавшейся внизу грандиозной картины у нее перехватило дыхание. Вглядываясь в величественный пейзаж, она забыла о том, что томится в неволе. Эллена поняла, что находится внутри угловой башни монастыря, словно бы парившей в воздухе над изломами и уступами громадной гранитной скалы, составлявшей часть горы, на которой стоял монастырь. Причудливые утесы громоздились в живописном беспорядке, нависая над крутыми обрывами, начинавшимися у самых монастырских стен. Замирая от сладостного трепета, Эллена озидала мощные склоны, густо заросшие лиственницами и осененные огромными соснами; глаза ее отдыхали на расположенных ниже темных каштановых рощах; далее местность постепенно выравнивалась – и эти рощи казались плавным переходом от первозданной дикости вершин к разнообразно возделанным полям на равнине. Просторные долины замыкались вдалеке бесчисленными пиками и хребтами, восхищавшими Эллени по дороге к Сан-Стефано; купы оливковых и миндальных деревьев перемежались с обширными лугами, где летом на душистой траве пасутся мирные стада, а с наступлением зимы спускаются в укрытые от ветров логовины Тавольере.

Слева виднелось грандиозное ущелье, которое Эллена миновала на пути к монастырю; издали доносился до слуха смутный гул водопадов. Зрелище исполинских островерхих гор, стиснувших мрачный провал, из башенного окна казалось еще более величественным, чем само ущелье.

Доступ в башню, нечаянно обнаруженную Эллени, значил для нее очень многое: ведь она обладала способностью находить в картинах природы и утешение, и величие. Теперь она сможет бывать здесь и, с отрадой созерцая распахнутый перед ней простор, набираться спокойствия, необходимого для того, чтобы мужественно противостоять всем грозящим ей бедам. Здесь она сможет вбирать сердцем потрясающие воображение картины дикой природы, благоговейно прозревая внутренним взором, словно сквозь завесу, внушающую священный трепет, тайные черты Божества, сокрытые от глаз земных созданий; здесь, в средоточии самых царственных Его творений будет живее ощущаться непосредственное Его присутствие; здесь ее прозревшей мысли мелкими и ничтожными покажутся все мирские страдания и заботы! Сколь убого хваленое человеческое могущество, если один-единственный скатившийся с крутизны обломок способен навлечь гибель на тысячи приютившихся у подножия горы жителей! Чем поможет им готовность к междоусобным битвам, спасет ли их масса смертоносного оружия,

накопленного изошренными умельцами? Существо, с дерзостью титана заточившее несчастную пленницу в темницу, сравнивается для нее с крошечным гномом. Она была уверена: никто на свете, никто из тех, кто лишен добродетелей, не сможет наложить оковы на ее душу.

Тут внимание Эллены отвлекли чьи-то шаги, послышавшиеся из галереи, затем раздался лягг ключа в замке. Испугавшись, что это сестра Маргаритоне, которая, разумеется, воспретит бы ей искать утешения у окна башни, Эллена с бьющимся сердцем спустилась по лестнице; перед ней и в самом деле стояла монахиня – удивленная и разгневанная; она сурово потребовала от Эллены объяснить, каким образом ей удалось отпереть дверь и где она была.

Эллена без всяких увиливаний ответила, что нашла дверь незапертой и побывала в башне наверху; высказать пожелание вернуться туда она побоялась, рассудив, что тем самым наверняка лишит себя этой возможности на будущее. Маргаритоне, резко отчитав пленницу за самовольство, поставила на стол завтрак и по уходе тщательно заперла дверь кельи. Так Эллена в один миг утратила, едва успев обрести, то невиннейшее утешение, каким являлась для нее башня.

В последующие дни Эллена виделась только со своей строгой надзирательницей, и одиночество ее скрашивали лишь посещения вечерней службы. В часовне, однако, за ней неусыпно следили, и она опасалась не то что заговорить с Оливией, но даже встретиться с ней глазами. Оливия часто устремляла на нее пристальный взор, значение которого Эллена, когда ей случалось взглянуть на монахиню, никак не могла вполне разгадать. Во взоре Оливии сквозило не одно сострадание – в нем угадывалось и тревожное любопытство, смешанное со страхом. Иногда на щеках ее вспыхивал румянец, сменявшийся вдруг смертельной бледностью; лицо выражало томление, какое обычно предшествует обмороку, но усердная молитва возвращала ей бодрость, вселяя в нее мужество и надежду.

По окончании службы Эллена в тот вечер с Оливией более уже не встречалась; наутро же Оливия явилась к ней в келью с завтраком. Черты ее лица омрачала какая-то особенная печаль.

– О, как я рада тебя видеть! – воскликнула Эллена. – Как мне было грустно, что тебя так долго нет! Мне пришлось постоянно помнить о твоём наказе – не пытаться разузнать о тебе.

– Я пришла к тебе по настоящему требованию аббатисы, – с грустной улыбкой проговорила Оливия, садясь рядом с Элленой на убогий матрас.

– Против своего желания? – Голос Эллены дрогнул.

– Нет-нет, совсем наоборот, – заверила ее Оливия, – однако... – Тут она запнулась.

– Чем же вызвана твоя нерешительность?

Оливия молчала.

– Ты принесла мне дурные вести? – вскричала Эллена. – Ты боишься меня огорчить?

– Ты угадала, – был ответ Оливии. – Медлить меня заставляет боязнь причинить тебе боль: у тебя наверняка слишком много привязанностей в мирской жизни – и новость, которую я должна тебе сообщить, повергнет тебя в удручение. Мне велено подготовить тебя к принятию обета; коль скоро ты отвергла назначенного тебе супруга, ты обязана постричься в монахини; предполагается возможно более упростить обряд – черное покрывало будет возложено на тебя немедленно после белого.

Оливия прервала свою речь, и Эллена проговорила:

– Ты возвестила мне жестокий приговор вопреки собственной воле, и мой ответ предначен только для преподобной настоятельницы; я заявляю, что никогда в жизни не приму ее предписаний; силой меня еще можно вынудить приблизиться к алтарю, однако ничто на свете не заставит меня произнести обет, ненавистный моему сердцу; и если меня вынудят предстать перед алтарем, я во всеуслышание буду протестовать против деспотизма и против обряда, который позволит ей добиться своего.

Твердость Эллены, по-видимому, нашла у Оливии сочувствие, и на лице ее выразилось удовлетворение.

– Не смею хвалить твою решимость, – проговорила она, – но не стану ее осуждать. Отречение от мира, где у тебя, без сомнения, много связей, превратит твою жизнь в истинную муку. У тебя ведь есть родственники, друзья, разлука с которыми была бы непереносима?

– Ни единой души, – со вздохом сказала Эллена.

– Неужто? Возможно ли? И однако, ты так не хочешь стать монахиней?

– У меня есть только один друг – и именно его они хотят у меня отнять.

– Дорогая моя, прости мне внезапность моих вопросов, – произнесла Оливия, – но, испрашивая у тебя прощения, я не удержусь от новой дерзости: назови мне свое имя.

– На этот вопрос я охотно тебе отвечу. Меня зовут Эллена ди Розальба.

– Как-как? – задумчиво переспросила Оливия. – Эллена ди...

– Ди Розальба, – повторила девушка. – Скажи мне, почему тебе это так интересно: тебе знаком кто-нибудь из тех, кто носит эту фамилию?

– Нет, – опечаленно отозвалась Оливия. – Просто твои черты немного напоминают мне одну мою прежнюю подругу.

С этими словами она, явно взволнованная, поднялась с места:

– Мне нельзя долее задерживаться, иначе мне запретят тебя навещать. Что я должна передать аббатисе? Если ты решилась отклонить монашеский постриг, позволь мне посоветовать тебе: постарайся как можно более смягчить свой отказ; мне ведь лучше известен нрав настоятельницы... О сестра моя, я не допущу, чтобы ты весь век томилась в этой одинокой келье.

– Как я обязана тебе, – воскликнула Эллена, – за заботу о моем благополучии, за бесценные твои советы! Облеки мой отказ аббатисе в должную форму – и помни только об одном: решение мое бесповоротно; остерегись ввести аббатису в заблуждение, дабы она не приняла кротость за нерешительность.

– Доверься мне: я буду осторожна во всем, что тебя касается, – заявила Оливия. – Прощай! Постараюсь, если удастся, заглянуть к тебе вечером. Пока что дверь останется незапертой – воспользуйся случаем: у тебя будет больше воздуха и простора. По той лестнице можно попасть в очень приятную комнату.

– Я уже побывала там благодаря тебе, – пояснила Эллена, – и признательна тебе за доброту. Вид из окна вселяет покой в мою душу; а если бы со мной оказалась книга или рисовальные принадлежности, я, наверное, почти забыла бы о своих горестях.

– И вправду забыла бы? – с ласковой улыбкой переспросила Оливия. – Прощай! Попытаюсь увидеться с тобой вечером. Если вернется сестра Маргаритоне, смотри не спрашивай обо мне и никогда не проси ее о том скромном удовольствии, которое я тебе разрешила.

После ухода Оливии Эллена направилась в башню – и забыла все свои горести, созерцая величественный горный пейзаж.

В полдень, заслышав шаги Маргаритоне, Эллена поспешила к себе в келью; она очень удивилась, что ее отсутствие на сей раз не навлекло на нее никакого выговора. Маргаритоне ограничилась только уведомлением, что по милости аббатисы Эллене дозволено обедать вместе с послушницами за одним столом, куда ей и препоручено сопроводить узницу.

Новость ничуть не обрадовала Эллену: она предпочла бы остаться в одиночестве, нежели оказаться под испытующими взорами незнакомок; уныло последовала она за Маргаритоне через многие переходы и коридоры в трапезную. Еще более смутило и поразило Эллену в поведении юных обитательниц монастыря полное отсутствие воспитанности, за скромными проявлениями которой скрывается изящество, столь необходимое женщинам; так вуаль еще более оттеняет достоинство и нежность лица. Едва только Эллена вступила в зал, как глаза всех собравшихся немедленно обратились к ней; девушки принялись хихикать и перешепты-

ваться, нисколько не скрывая, что новоприбывшая служит предметом пересудов – причем самого неодобрительного свойства. Никто не встал ей навстречу, никто не пожелал ободрить, никто не пригласил к столу и не оказал ни единого знака предупредительности, которыми великодушные и тонкие натуры поддерживают застенчивых и незадачливых.

Элена молча заняла свое место; поначалу развязные повадки соседок повергли ее в замешательство, однако постепенно сознание собственной невинности позволило ей вновь обрести чувство достоинства, заставившее дерзких насмешниц умолкнуть.

Впервые Элена с охотой вернулась к себе в комнату. Маргаритоне оставила ключ в замке, однако предусмотрительно заперла дверь в коридор; впрочем, даже столь незначительную поблажку она делала неохотно, повинувшись против воли приказу начальницы. Как только она ушла, Элена поспешила на башню; там, после пережитого в чуждом ей обществе послушниц, она еще более полно испытала прилив благодарности к милой ее сердцу монахине за ее отзывчивость. Оливия, как оказалось, побывала в комнате, пока она отсутствовала: сюда были принесены стул и стол, на котором лежали книги и охапка душистых цветов. Элена не смогла удержаться от слез благодарности; глубоко растроганная великодушием Оливии, она некоторое время не прикасалась к книгам, не желая нарушить строй своих чувств.

Перелистав книги, Элена увидела, что по большей части это мистические трактаты; их она разочарованно отложила в сторону, однако здесь же нашлись сборники лучших итальянских поэтов, а также два тома истории Гвиччардини. Элену несколько удивило то обстоятельство, что поэты проторили себе тропу в библиотеку монахини, однако радость ее была так велика, что она не стала об этом задумываться.

Разложив книги и наведя в комнате порядок, Элена уселась у окна с томиком Тассо в надежде изгнать из головы все тягостные переживания. Она продолжала странствовать в прихотливом лабиринте событий, созданном воображением поэта, пока тускнеющий свет не вернул ее к действительности. Солнце село, однако лучи его все еще озаряли вершины гор, и по всей западной стороне неба разливалось пурпурное сияние, окрашивая алым снежные пики на горизонте. Царившие на необозримом просторе тишина и спокойствие усилили жившую в сердце Элены тихую грусть; она подумала о Вивальди и заплакала, думая о том, с кем ей, быть может, никогда более не увидеться, хотя и не питала ни малейшего сомнения в том, что он прилагает все усилия, дабы ее разыскать. Элена перебирала в памяти малейшие подробности их последнего разговора, когда Винченцио столь горько сокрушался о предстоявшей разлуке, даже признавая ее необходимость; рисуя в воображении тоску и отчаяние, причиненные Винченцио ее внезапным и загадочным исчезновением, Элена изменила непреклонной твердости, с какой всегда несла собственные страдания, ибо страдания Винченцио причиняли ей гораздо более острую муку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.